

Анвар

Жолымбетов



## ТАМ, В ГОРОДЕ ПЁСКИ

*Место действия и персонажи в повествовании вымышлены и всякое сходство с ними – недоразумение.*

«...одни отмахивались, считая его казахским, другие соглашались, что он все же российский и затеивали споры с первыми, третьи уверяли, что Пёски – пустыня и всего лишь географический термин, обозначающий жаркую и безлюдную местность, и ничего, кроме джейранов и змей, там не водится».

### 1

Все проходит: дни, годы, события. Уходят люди, которых мы знали. Ничему не вернуться. Лишь время от времени, когда неожиданно посетит нас тихая, светлая и чем-то похожая на осень волна ностальгии, в памяти вдруг оживет, поднимется, затрепещет увядающею листвой какая-нибудь картина из прошлого. И вздохнешь: «Память, память!..» Она-то и потянет, будто бы взяв за руки, в те годы, в те необратимые и давно уже выцветшие, казалось бы, жизненные коллизии, в те города и села, по которым носило нас по воле судьбы и где навеки остались самые чрезвычайные, самые дорогие нашему сердцу воспоминания, одни – когда-то принесшие радость, другие – с привкусом разочарования.

На заре девяностых миллионы и миллионы людей, и это без преувеличения, были шокированы невероятным известием, в которое невозможно было поверить: газеты и телевидение всех пяти континентов протрубили о развале величайшей в мире державы – Союза Советских Социалистических Республик, которой не было равных в истории.

Еще в далекие шестидесятые, едва научившись читать и впервые увидев на школьной доске карту мира, два земных его полушария, мы, дети страны Советов, словно зачарованные, следуя за учительской указкой, познавали местоположение нашей родины на планете и поражались тому, что ни одно государство не могло сравниться с ней по величине. Мы возбужденно перешептывались, взволнованные тем, как вольно, как неудержимо раскинулась она на все четыре стороны света, а наши маленькие сердца млели от гордости за нашу державу, могучую и необъятную. Словно фантастическая птица, соседствующая на лошенной поверхности карты со множеством прочих стран, облепивших ее и с юга, и с запада мелкими, пестрыми лоскутьями, распростерла она свои исполинские розовые крылья под



аббревиатурой СССР над всем восточным полушарием, начиная с государств Прибалтики, знаменитых янтарем и радиоприемниками ВЭФ, и заканчивая Курилами, обителью древнего и загадочного народа айнов.

По лаку указки, которой наша учительница водила по карте, стремительными молниями скользили бисеринки света, лившегося с потолка из круглых, сияющих электричеством плафонов. На какое-то время конец ее задержался на полуострове Крым, омываемом волнами Черного моря, и мы узнали, что Крым – это здравница нашей великой страны и является самой южной точкой СССР в Европе. А еще этот полуостров, на утесах которого среди виноградников и античных колонн в тоске по родине, по вечному Риму, некогда умирал великий изгнанник Вергилий, – одна из колыбелей человеческой культуры. А в Азии, в пустынной Туркмении, куда позже переместилась указка, мы обнаружили Кушку – другую самую южную точку нашей страны, древнее глинобитное поселение в выжженных добела песках, где дожди были редкостью, а о снеге лишь слышали. Странствуя по всей нашей огромной стране и с каждой минутой открывая для себя всё новое и неизведанное, мы с нашей учительницей и ее деревянной указкой, вполне уже сопоставимой в наших детских умах со всемогущей волшебной палочкой, очутились, наконец, на самом краю света, за Полярным кругом, где границы нашей страны на всем протяжении окаймляли воды и льды Северного Ледовитого океана, сурового и мрачного. Там, за пределами земли, за последними чумами эскимосов, на линии горизонта, сверкавшего ледяными торосами, движение солнца останавливалось, и полгода, как будто угодившее в западню, оно бессильно дымилось, красное и замерзшее, а в следующие полгода стояла тьма, в которой время от времени поигрывали всполохи северного сияния, а во льду отражалась единственная звезда, на навигационных картах именуемая Полярной.

Просторам нашей страны, уступающим разве космическим, позавидовал бы и сам Чингисхан, покоритель вселенной. Вот уж где было бы разгуляться его диким ордам, которые под вопли «Урр!» и в блеске своих кривых сабель некогда хлынули по всем равнинам Азии и Европы подобно грозным, бушующим волнам доисторического потопа. Вот уж где было бы попастьись его бесчисленным низкорослым монгольским лошадям, в свое время заполонившим полмира!

Более семидесяти больших и малых народов населяло СССР. В то время когда на юге нашей страны загорелые, как головни, узбеки и туркмены собирали на полях горы белоснежного хлопка, когда веселые и говорливые молдаване и грузины давили виноград и забивали свои хранилища фруктами и овощами, мандаринами и апельсинами нового небывалого урожая, когда казахи и украинцы изливались потом на хлебной страде, а на полях Прикаспия и Причерноморья зрели, словно поросята в траве, огромные арбузы и дыни и в таком несметном количестве, что не хватало железнодорожных составов, чтобы их вывезти, на севере страны исконные их жители: чукчи и ненцы, заворачивались в шубы, а олени стада их выбивали копытами ягель из-под снежного наста. Когда на западе, в республиках Прибалтики, наступал вечер, и местные рыбаки, латыши и эстонцы, причаливали с богатым уловом к песчаному берегу, поросшему соснами, и, выкурив последнюю трубку, шли по домам, где ждали их семьи и потрескивающие каминные, на востоке страны, над Южно-Сахалинском, уже брезжил рассвет, и их коллеги, такие же бывалые и просоленные рыбаки, уже ступали на палубы своих баркасов, ставили парус и ловили ветер, спеша в открытое море.

Вот каковы были масштабы нашей державы. А силы ее армии и флота! Они были поистине удивительны. Ведь это Советский Союз в войне 1941–1945 годов сломал хребет фашистской Германии, поставившей на колени все страны Европы. А насколько выросла ее военная мощь, оснащенная еще и ядерным оружием, и представить себе невозможно. Можно лишь достоверно отметить, что вооруженные силы нашей страны, нашей общей великой родины, всегда вселяли трепет и страх в правителей недружественных государств. И этим мы тоже были горды как были горды нашими героями, поэтами, артистами, учеными, космонавтами, Юрием Гагариным, первым из людей проторившим путь к звездам, простым и всегда озаренным улыбкой парнем.

Голова кругом, лишь только подумаешь, какую державу мы потеряли, какую великую и цветущую страну довели до того, что она превратилась в руины!

За развалом СССР последовал и экономический крах всех входивших в него республик, объединенных одной экономически-хозяйственной системой. По всей некогда единой стране поспешно закрывались заводы, фабрики, исследовательские институты, замораживались строительные объекты, с которых крохоборами растаскивались железо, кирпич, цемент; арматурные прутья и балки недостроенных зданий, сиротливо устремленные в небо и в дождь, и в снег, интенсивно покрывались ржавчиной. В полях гнили урожаи. Огромное количество людей осталось без работы, без средств к существованию. Невероятно подскочили цены. Все до единой республики, а их было пятнадцать, помпезно объявили о своей независимости, и в каждой появилась собственная валюта, подверженная бесконечной инфляции и не вызывавшая доверия, и люди пользовались американскими долларами, естественно, те из граждан, кто мог себе это позволить. Компартия, единственная и правящая, была упразднена.

Освободившись от оков марксизма-ленинизма, Россия со всем пылом включилась в демократические преобразования, провела реформы в области экономики, и, некогда плановая, от которой мало что оставалось, она была переведена в рыночные условия. Как всегда в тяжелые времена, ожидали, что Запад поможет. Была объявлена приватизация, населению раздали ваучеры. У граждан появилось право стать акционерами или даже владельцами того или иного предприятия, и в народе, наконец-то обнадеженном небывалыми доселе реформами, замерцала надежда, что теперь-то все они смогут поправить свое финансовое положение, да и бывшее могущество страны теперь уже непременно возродится само по себе, как сказочная птица Феникс из пепла. В результате обнищавшее и полуголодное общество превратилось в свидетеля зарождения собственной национальной элиты – олигархов. Непонятно как, тихо, кулуарно, избегая излишней огласки, за сущие копейки кучка людей, близкая к правительственным кругам, скупила всё: годные еще на что-то промышленные объекты, нефтеносные и газовые месторождения, шахты, рудники, аэрофлот, пароходства, железные дороги. Так в стране появились миллионеры и миллиардеры, присвоившие все национальные богатства, – рейтинги и фотографии их уже не сходили со страниц известного международного журнала «Форбс».

Между тем есть в стране было нечего, курить нечего. Повсюду заброшенность, бесхозяйственность. Города и села утопали в мусоре. Административные здания и жилые дома безнадежно ветшали, под стенами их гнили и отравляли воздух горы объедков и носимые ветром палые листья, груды бумаг, тряпье, целлофановая рванина. Было больно и странно видеть, как иной гражданин в потертой костюмной

паре, при галстукe, ссутулившийся и почерневший, – так бывает, когда у человека горе, – забыв о правилах приличия, с глазами, сияющими за стеклами очков скромностью и недюжинным умом, сосредоточенно собирает окурки на остановках или копается на помойке, в зловонном контейнере, распугивая котов и поднимая тучи недовольных мух. И думалось: кто он – ученый, инженер, преподаватель? Где, на какой кафедре пошарпал он свой заляпанный костюм? По чьей, по собственной ли вине дошел до такой уничижительной беспомощности?

Диссиденты, некогда боровшиеся за эти самые перемены и оказавшиеся в эмиграции, с возвращением не спешили. В Америке или странах Европы, там, где они осели, было сытно, да и спокойнее.

Из пустых и обезлюдивших магазинов торговля переместилась на рынки. Положение спасали так называемые «челноки». Благодаря им, этим сноровистым и предприимчивым людям (большинство из которых были женщины), круглогодично скитающимся с набитыми до отказа мешками и баулами между Китаем и Россией, берегом турецким и родимой глубинкой, еще хоть что-то можно было купить из еды, из одежды. Между тем страну, как будто тараканы, повывлезшие из всех щелей, наводнили бомжи, воры, мошенники, налетчики, шулера. Завитые и покрашенные проститутки в зазывных позах дежурили на каждом углу. Махровым цветом расцвели рэкет и бандитизм. В городах зазвучали стрельба, взрывы. Грабились банки, обменники, ювелирные магазины, известные певцы и музыканты, собиравшие стадионы и зарабатывающие баснословные деньги, те же самые «челноки», лавки на базарах. Трупы на улицах были уже не редкость. Последовавшие вскоре две Чеченские войны стабильности не прибавили. Снова, как и в Афганскую, в города и села потянулись цинковые гробы. Кровавые и полные цинизма террористические акты с многочисленными жертвами потрясли Москву, Дагестан, Северную Осетию, Кубань. В столицу стали прибывать черноголовые и усатые «гастролеры» из южных республик. Зародились мафиозные структуры, в сферу интересов которых попали все до единой овощные базы, рынки, рестораны, директора и члены правления которых, люди местные, загадочным образом исчезали, как будто растворившись в воздухе, а в креслах их уже с надутыми щеками посиживали усатые и золотозубые приезжие, некоторое время – впрочем, весьма недолго – фигурировавшие в милицейских сводках, как лица кавказской национальности. Их дети и родственники отплясывали на мостовых среди маневрирующих автомобилей лезгинку и устраивали широкие свадьбы со стрельбой в небо из пистолетов и автоматов Калашникова. А когда в стране в результате усилий правительства наконец-то стала подниматься с колен экономика, а следовательно, возродилась и важнейшая ее отрасль – строительство, из ближнего зарубежья хлынула во многом нелегальная, стихийная, дешевая рабочая сила – таджики, узбеки, киргизы. И калейдоскоп лиц в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах начал стремительно меняться. Из некогда мраморно-светлого в редкую крапинку он становился все более азиатским, темным, скуластым. Повсюду в людском водовороте рынков, торговых центров, вокзалов, площадей, улиц мелькали уже преимущественно смуглые незнакомые лица, доминировала непонятная речь. Уголовные преступления: грабежи и насилия, воровство и мошенничество, виновниками которых были приезжие, становились обыденностью. Когда-то в Америке в пик коллаборационистской волне за освобождение негров зародилось движение «Ку-клукс-клан», члены которого, скрывавшиеся под белыми балахонами

с прорезями для глаз, не полагаясь на суды и полицию, творили собственное правосудие с помощью карабина в руках и веревки, переброшенной через перекладину. В России, конечно, до такого не додумались. Но коричневые, ядовитые побеги фашизма дали ростки. Бритоголовые молодые парни с накачанными мускулами, в резиновых подтяжках, в военных галифе и обвешанные нацистской символикой, называвшие себя «скинхедами», собирались в стаи и, будто бы звери, подстерегали в городских джунглях зазевавшегося «черного» – азиата или кавказца, которого после находили мертвым. «Россия русским!» – таково было кредо этих убийц. Но ни правительство, ни граждан это особенно не тревожило. Казалось, вся страна потеряла голову. Буквально годы назад люди еще жили идеями добра и справедливости. С энтузиазмом участвовали в построении эпохи всеобщего благоденствия, так называемого коммунизма. Презирали рвачей, скопидомов. Тянулись к культуре. Теперь же каждого заботило одно-единственное – корысть. поголовно все кинулись что-то покупать, продавать, брали кредиты, влезали в долги, организовывали бизнес. Шли в воров, в бандиты, в политику. Кому повезло, богатели, обзаводились элитной недвижимостью, дорогими иномаркам, длинноногими любовницами, виллами за границей, яхтами на Средиземном море, в Греции, в Италии, однако таких было немного, сущие единицы, другие – а их было тьмы и тьмы, неисчислимое большинство по всей огромной и агонизирующей стране – нищали, уходили в бродяжничество, в пьянство, вливались в псевдорелигиозные секты, заканчивали в психушках, искали выход в самоубийствах. Органы власти и правопорядка разъедала коррупция. Бизнес не терпел конкуренции. Услуги наемных убийц поднимались в цене. Молодежь ударилась в жизнь разгульную и далекую от реальности. Бары, ночные клубы, площади, грохочущие музыкой и утопающие в огнях, становились местами тусовок так называемых неформалов: готов, панков, металлистов, эмо, с разукрашенными лицами и разодетых до того необычайно и с такой фантазией, как будто все они принадлежали к какой-то иной цивилизации – не то инопланетной, не то с признаками чего-то потустороннего, темного. Жеманные и беспокойные геи и лесбиянки пытались устраивать на улицах гейпарады, как принято в Европе. Обклеившись блестками и индюшьими перьями, со счастливыми огоньками в глазах они увлеченно вертели перед публикой своими порочными обнаженными грудями и ягодицами и, невзирая на милицейские кордоны, нередко получали по зубам от татуированных верзил с могучими шеями и огромными бицепсами, выкрикивавших: «Бей голубых! Прочь Содом и Гоморру!»

Ведомственные дома культуры превращались в здания казино, кичливые, претенциозные, с фасадами, наспех подшаманенными под «барокко», сверкающие внутри дорогими залами. В роскошных и уютно обставленных интерьерах, под сенью экзотических пальм за хромированными рулетками в погоне за удачей проводили досуг упитанные владельцы торговых компаний, чиновники, преступные авторитеты, высокие милицейские чины, политики – все в клубных малиновых пиджаках, золотых цепях на потных шеях, рядом роскошные дамы в рубинах и бриллиантах; за ломберными столиками – известные жулики, а «однорукие бандиты» в отдельных залах разделяются один на один с алчными искателями счастья. И тут же рядом, буквально в паре шагов, на зловонной помойке, обосновались на ночь бомжи с сизыми обмороженными лицами, завернутые в засаленные лохмотья; под ногами псы, воющие от голода. Алкоголики, спивающиеся по подворотням. Сауны с визжащими проститутками, бесконечные торговые палатки у станций

метро, дымящие шашлычные, огромные супермаркеты, брызжущие, будто бы фейерверками, огнями реклам. Кафе и рестораны, за стеклами которых, как рыбки в аквариумах, между столиками снуют проворные официантки в коротеньких, умопомрачительных юбках. Киллеры и мошенники, террористы, обвязанные поясами шахидов – зло, живущее и ожидающее своего часа где-нибудь совсем рядом, во мраке, – все это стало приметой 90-х – начала 2000-х и лицом всякого мало-мальски приличного города, уровня не ниже райцентра, изо всех сил стремящегося в местные Лас-Вегасы.

Однако до периферии, до самых отдаленных уголков страны, как и во все времена влачивших свое нищенское существование в привычной тиши и с патриархальным безразличием, волна этой новой жизни, полной разврата, блеска и громких преступлений, как-то не докатилась. То есть все это было, существовало и прежде, и в советские годы, и при царе-батюшке, но в более бледном и невыразительном виде и с той лишь разницей, что казино здесь все-таки не было. Да и к чему, когда вместо всех этих вычурных заведений со всеми их невообразимыми сложностями: рулетками, фишками, хитроумными крупье с повадками махинаторов, охраной с благоговейно сложенными на паху руками, секьюрити, скрывающимися за портьерами, – можно спокойно и без лишних проблем перекинуться в преферанс обыкновенной, копеечной колодой карт! Да оно и приятней. Ведь в карты, имей вы их на руках и пребывая неважно где: на кухне, в железнодорожном купе, на лужайке под тихой и приветливой сенью берез или даже за огородами, спасаясь от жары в зарослях лопуха, как это делают деревенские козы, – помимо преферанса и прочих заумных игр, всегда можно перекинуться и в «дураки», а «дураки» – следует заметить, излюбленное занятие всякого провинциального общества, о какой бы части страны ни заходила речь. А сколько восторга, радости, когда в кругу собравшихся, откуда ни возьмись, блеснет стеклянными боками своими настоящая пол-литра! Степенные старики, и те расправят нахмуренную бровь и, потряхивая животами, загогочут от счастья, залают собаки, замечутся с перепугу, а там уже и хозяйка дома с обворожительной улыбкой на устах понесет из заиндевелого погреба своего соленые огурчики в нитках укропа, сало, грибочки. О террористах в этих краях и не слыхивали. По крайней мере, ни в печати, ни по телевидению о каких-либо диверсиях, произошедших в том или ином райцентре или деревушке, никогда не упоминалось. Что же касается пьяниц и женщин легкого поведения, то этого добра всегда хватало на отечественных просторах, хоть в центре, хоть на периферии, да в такой глухомани, о которой не всякому-то и известно.

Примером подобного уголка, затерянного, как говорится, у черта на куличках, можно было назвать и Пёски, пыльный, знойный и запущенный во всех отношениях городок, ведущий свое неприметное существование где-то между предгорий российского Алтая и великой казахской пустыней, именуемой Бетпак-Дала, что в переводе на русский означает «Долина бедствий». С тех пор как Советский Союз так неожиданно прекратил существование, об этом городишке как-то забыли и в народе, и в новом руководстве, еще не притершемся между собой, еще воюющем между собой на крутой и бурной волне тотального переустройства, которое охватило тогда страну, а если к кому-нибудь из депутатов думы или министров приходили с докладом об этом малоизвестном населенном пункте, одни отмахивались, считая его казахским, другие соглашались, что он все же российский и затевали споры с первыми, третьи уверяли, что Пёски – пустыня и всего лишь географический тер-

мин, обозначающий жаркую и безлюдную местность, и ничего, кроме джейранов и змей, там не водится.

Ничего определенного по поводу государственной принадлежности своего городка не могли выразить и сами жители Песков, полагавшиеся во всем на органы власти. А те, то есть органы власти, куда относились и партийный аппарат, и работники горисполкома, и прочие руководящие лица, тоже не менее горожан пребывали в полной растерянности, если не сказать, в шоке, не понимая, что происходит в страной, и куда подевались ЦК и Политбюро, и почему по телевидению и по радио перестали исполнять гимн Советского Союза. Не получая сверху ни указаний, ни предписаний, ни поощрений в виде орденов и медалей, обычно выдававшихся ко всем без исключения государственным праздникам, они запирались на совещаниях и там, на совещаниях этих, бессильно разводили руками. Да и расположен был городок не очень удачно, и настолько мало было о нем информации, что и найти-то его было подчас невозможно как в действительности, так и на карте.

А ведь известно, что всякий краевед или даже обычный турист, не имеющий за плечами каких-либо серьезных географических познаний, но окрыленный энтузиазмом новых открытий, подобно Колумбу или славе российского мореходства Фаддею Беллинсгаузену, прежде чем двинуться в путь, обязательно раскроют географический атлас или хотя бы схему железнодорожных сообщений. Но и таковым, довольно подготовленным, не всегда удавалось обнаружить этот населенный пункт на блистающих глянец страничках среди неимоверного количества картографических условностей и обозначений. И, тем не менее, следуя экспрессом Москва – Петропавловск-Камчатский, на перегоне между станциями «Баянаульское» и «Сухой лог», когда за окнами под слепящими небесами, пышущими невероятным зноем, уже которые сутки все разворачивается и разворачивается унылая и однообразная панорама, состоящая сплошь из песчаных барханов, красной, потрескавшейся земли, перемежающейся с каменистыми образованиями, голою степью и редкими, отдельными посадками скрученного в узлы саксаула, где в часовом, а то и более интервале мелькнут и унесутся под рельсовый грохот неведомо в какие дали то одинокая фигурка верблюда, горделиво закинувшего к небу свою косматую морду, то понурый чабан на коне над кучкой овец, то плоская и узенькая мазанка, открытая всем ветрам и подпертая корявою жердью, – жилище местного обывателя, то невесть откуда выскочивший осел, оставивший жвачку и провожающий вас удивленным взглядом, – бывает, и очутишься на площадке перрона перед низеньким, серым и облупленным фасадом старинного станционного здания, вывеска над которым, помятая и похожая на ларечную, указывает, что перед вами «Пёски». И первый, кого вы увидите, впрочем, как и повсюду на железных дорогах, будет залитый ярким палящим солнцем маленький человечек в черной, как уголь, форме и с красным флажочком в руке, замерший на углу, ровно солдат в карауле. Прямо под вывеской – серебряная раковинка репродуктора, из которой с металлическим треском выкатываются громкие и совершенно невнятные объявления. По левую сторону от станции, чуть в глубине, бросая дырявую лиловую тень на угол ее крыши, за низенькой, полуразрушенной саманной оградой возвышаются могучие ветвистые вязы, создавая неожиданное впечатление маленького и скромного оазиса среди знойной пустыни. По правую – водонапорная башня, сложенная из некогда красного, но теперь уже выцветшего и осыпающегося кирпича, и формой и мощными пропорциями напоминающая крепостную. Когда-то давно разъезжающие по

железным дорогам закопченные, большие и пузатые паровозы, окутываясь клубами дыма и отчаянно вереща в свистки, подкатывали под такие вот башни и пополняли запасы воды. Но нынче это обветшалое сооружение не востребовано и, видимо, пусто. Пусто и прокалено, как и все вокруг, белым и неизменно слепящим солнцем, как и площадка перрона, как и запущенные стены небольшого квадратного приземистого вокзала с мутными оконцами, как и кривые, необыкновенно широкие улочки в наносах песка, близлежащие к путям и заставленные убогими и неряшливо крытыми домишками, с которых начинается город. И может показаться, что и сам город, ветхий и полуразрушенный, имеющий быть где-нибудь за вокзалом, тоже необитаем и пуст, а человек, что замер на солнце в черной фуражке и с красным флажочком – единственный его житель, и давно уже спятил и от зноя, и от одиночества. Однако не успел поезд затормозить, как вы уже слышите голоса – достаточно возбужденные, отрывистые, и пока непонятно, брань то или переключка на несколько несдержанных тонах. А в следующую минуту в поле вашего зрения показывается и сам народ; наплывают навесы, жестяные или брезентовые, какие бываю на стихийных рынках, торговки, взволнованно взирающие из тени этих навесов на вагоны и окна приближающегося экспресса. А так как вы истекаете потом с того самого часа, как поезд ваш перевалил Уральский хребет и углубился на юг, и не перестаете обмахиваться платочком или газеткой, и бесконечно хватаете ртом воздух, поражающий отсутствием кислорода, то вы начинаете чувствовать, как вас охватывает удивление, что люди здесь при такой-то страшной температуре почему-то не голы, как где-нибудь в Африке, не в легких набедренных повязках или хотя бы туниках, а облачены в обычные цивилизованные одежды, в платья, пиджаки, брюки – правда, такого фасона и состояния, какие уже редко встретишь, к примеру, в Москве или Петербурге. А на некоторых женщинах еще и плюшевые камзолы, синие, зеленые; на головах кимешеки – большие, высокие яйцевидные тюрбаны, скрученные или пошитые из белого полотна, характерные для степных казахских старушек. И вы понимаете, что это они и есть, казашки, ибо видите их уже не впервой. О чем свидетельствует и немедленно вырисовывающееся в памяти вашей примерно такое же непривычное для европейского глаза убранство, мерцающее под стеклами какой-нибудь музейной экспозиции, которую вам пришлось посетить какое-то время назад. А может, то были газетные фоторепортажи о жизни азиатской глубинки, – теперь уже и не вспомнить.

А торговые прилавки все ближе. И вот уже различимы и каждая пуговица на женщинах, их свободные пояски, кошёлки на ремешках, их лица – древние и молодые, – тут вам и рыжая голубококая Европа, и скуластая Азия с рысьими продолговатыми глазами, мелькнет и что-нибудь сумрачно-горбоносое, кавказское. Их руки и лица, их плечи – коричневые и поблескивающие, кажутся обожженными в печи и облитыми глазурью. И все они встревожены: стоянка поезда всего ничего – пять минут. Женщины о чем-то кричат, спорят. Всполашено скидывают руками, как будто взывая в молитвах к Богу; перед ними, на уровне живота, – батареи пластиковых бутылок, белеющих кумысом, шубатом, рядом с бутылками возвышаются горки шафранно-желтого курта, ягоды джиды, упакованные в полиэтилен, темные, крученные кольцами колбасы. На одном из прилавков красуется телевизор в обществе музыкального центра и парочки компьютеров, которые и в Москве-то пока редкость. Под одним из навесов можно увидеть и попа, дородного, с пышной бородою, – за горкою румяных и увесистых яблок, примечательная личность – поп за

прилавком; пьяницу, обнявшего столб; милиционера с вызывающе-невозмутимым видом прогуливающегося по платформе; мальчишек, предлагающих замурованных в прозрачные, как стекло, шарики эпоксидной смолы скорпионов и каракуртов. Мальчишки эти очумело носятся по всей длине поезда, подпрыгивают к окнам, стучатся в них и шумно, весело, со сверкающими глазами демонстрируют свой уникальный товар, который нигде больше не приобрести. И в какую-то минуту вас посещает поразительная мысль, что и здесь, в пустыне, в дыре, при эдакой-то жарнице возможна активная и полноценная жизнь. И как ни покажется вам продолжительной эта стоянка, эти считанные минуты непереносимого зноя и духоты, которые приходится терпеть, поезд все-таки трогается. И, наконец, колыхнувшись в легком и неприметном поклоне, как будто бы на прощание, все, что вы видите, начинает свое медленное и плавное кружение: и черный человечек, и вокзальное здание, и перрон, и вся эта странная жизнь, кипящая где-то на задворках человеческой цивилизации. Всё, абсолютно всё, сначала тихо, медленно, неслышно, а потом все более и более набирая ходу, спешит раскрутиться, расшуметься, загрохотать, покинуть поле вашего зрения. Покажутся и тут же исчезнут под гром колес пустые и чахлые огородики, редкие деревья, прилепившиеся к домам, какие-нибудь пожелтевшие ивовые заросли над высохшим болотцем в пятнах мазута, шлагбаум на пустынном перекрестке, окруженном песками, какие-нибудь выгоревшие кусты, бегущие по-над дорогой, черные или коричневые каменные напластования, то громоздкие, пролетающие утесами, то низкие и всё удивительных форм, как будто и не камни, а доисторические ящеры, выползшие из сумрака мезозоя на шум вашего поезда, – и вновь пески, и вновь пустыня, по которой несется, подпрыгивая и подлетая в воздух, чахлый, высохший куст перекасти-поля, подгоняемый ветром, поднимаются барханы, мелькнут саксауловое деревце да какой-нибудь застывший в отдалении верблюд. Пронесется, разворачиваясь панорамой, все те же просторы, все то же небо, выцветшее и раскаленное – и ни конца им, ни краю: ни небу, ни жарким просторам.

Между тем поезд набирает скорость, вагон уже не болтает из стороны в сторону, как это было в начале. В приспущенное окошко, где-то под потолком, стремительно и безмолвно влетают ручейки теплого ветра, вьются над верхними полками, треплют уголки простыней, шелестят страничкой газеты, кем-то забытой, а чугунные колеса под вашим купе входят в мерный и определенный ритм: «Тук-тук, так-перетак... Тук-тук, так-перетак...» Вы облокотились на столик, который подплясывает под эту нудную и бесконечную мелодию дорог, взираете на однообразные пейзажи, скучные и убогие, несущиеся вихрем за окнами, и чувствуете, что вам уже жаль, что отказались от прелестного скорпиона, закатанного в смолу, будто бы сооруженного из янтарных, полированных бусинок различной ширины и длины, и изогнувшего над собой ядовитый двурогий хвост, не пожелали купить еще более кошмарного паука, угольно-черного и с оранжевыми пятнами на спине, присевшего между всеми своими восемью ножками и взирающего на вас через стеклянную призму своего плена грозными и буравящими глазками. Некоторое время вы предаетесь грезам, как по приезде поместили бы их в сервант, за стекло, присоединив к коллекции экзотических безделушек, собранных вами прежде где-нибудь в отпусках, в Египте, в Эмиратах. Обдумываете и другой вариант – паука подарили бы шефу, а скорпиона навернули бы на ручку коробки передач в вашем кроссовере, – такое вы тоже встречали у какого-то из ваших знакомых. Становится

досадно, а где-то и совестно, что просидели в купе, как бирюк, не выбежали на платформу в своем залежалом и пузырящемся трико, как некоторые другие, не отряхнули жирок с обвисшего своего живота, не выпили шипучего и пенистого, как будто шампанское, кумыса, не пригубили шубата – они хоть и кислы, эти степные напитки, но, говорят, полезны; продаются они и в Москве, но там они неестественны, приготовлены из обычного молока. Не купили джиды, а ведь это тоже ягоды, как аравийские финики, дары пустынь. Хотя употреблять их почти невозможно: плоть их – сухой и скудно подсахаренный комочек ваты на длинной каменной косточке.

А через сутки – Енисей, медленный, широкий, мрачные таежные чащи, чередующиеся с блеском неожиданных просек, дождь, сеющий в прорехах деревьев, а там уже и Ангара, пенистая, бурливая, внезапно и широко выбегающая из-за деревьев, ГЭС, перегородившая реку чуть повыше моста, по которому и проследует ваш поезд, и Великая Китайская стена, – а она, как утверждают, видна даже из космоса, – в эти минуты покажется вам ничтожнейшим сооружением по сравнению с белой и величественной плотиной, в турбинные щели которой, как будто в прорехи какой-нибудь гребенки, которой женщины закалывают волосы, с грохотом, заглушающим все вокруг, как будто с вершин Ниагарского водопада, низвергаются долгие, крутые и сверкающие потоки воды, поднимающие такую бурю, такие фонтаны брызг, такие лохматые и густые туманы, что те воспаряют тучами, и над ними, над тучами бледных, дрожащих и клубящихся испарений, переливается огромная радуга, раскинувшаяся на полнеба, да такая яркая, такая цветистая, что в красках ее теряется из виду и сама плотина. А снизу, с зеркала реки, где-то зеленой, а где-то и сумрачно-синей, в которой плывут и плывут, увлекаемые течением, и бездонное небо, и неприступные каменные берега, поросшие лесом, и крутые утесы, и над которой на страшной, головокружительной высоте летит ваш экспресс, птицей одолевая ее богатырскую мощь и ширь, повеет уже не легонькими освежающими потоками ветра, как это было накануне, когда поезд ваш выбрался, наконец, из зоны пустынь и степей, а серьезным глубинным холодом. И в памяти вашей случайно или нет, но непременно поднимется что-нибудь о мамонтенке Мите, о котором вы читали в газетах, обнаруженном неподалеку от этих мест в вечной мерзлоте не то геологами – этими неунывающими бродягами, окутанными ореолами романтики, неприлично заросшими, согнувшимися, как грузчики, под тяжестью своих рюкзаков, с гитарами на боку, не то археологической экспедицией.

А далее – тайга. Темная, глухая. И сутки, и третьи. И где-нибудь на полустанке, в лесу, среди мшистых уклонов и угадывающихся во мраке скал, где поезд ваш лягнет и встанет в ожидании встречного, вы выйдете на перрон или станете прохаживаться по мокрому щебню железнодорожной насыпи в свитере, в шляпе, ежась от холода, и станете поглядывать ввысь, в косматые и сумрачные вершины склонившихся над вами лиственниц, елей, гигантских берез, сквозящих свинцовыми тучами, готовыми вот-вот пролиться или уже обдающих вас зябкой и туманною моросью, вам неожиданно придет мысль: а что если бы здесь, над этой тайгой, над этим отяжелевшими от сырости ветками, над этими темными, косматыми головами, хотя бы на миг показалась та яркая, знойная, пылающая полоска неба, что осталась гореть где-то далеко-далеко, за станцией Пески!

Человеку не угодить. Такое уж он существо. Зимой ему хочется лета, летом – зимы. Всегда ему что-нибудь не хватает.

Однако пока мы так увлеченно совершали наш маленький экскурс в тайники человеческой души, пытливой и беспокойной, души путешественника и первопроездца, некоторые читатели, да, наверное, и не единожды, задавались вопросом, а почему, собственно, в слове Пёски вопреки всем нормам ударением помечен именно первый слог. Все очень просто. Исключительно потому, что именно так произносят название своего города сами его немногочисленные жители. Они уверяют, будто бы в этом произношении проглядывает некая изюминка и, мол, пошло это еще от яицких казаков, по высочайшему повелению лет триста тому назад, а может, и более, и заложивших здесь, на берегах Карасу, узенькой, и поросшей камышом речушки, первое русское поселение. Относительно чего бытует легенда. Будто бы забравшись на один из каменистых холмов, поросших редкой и чахлой растительностью и ничего вокруг не увидев, кроме бесконечного, унылого и выгоревшего песка, зыблемого ветром и стелющегося во всех направлениях до самой линии горизонта, казаки так и наименовали свое новое местожительство: «Пёски», – и именно с ударением на первом слоге. Очевидно, не многие русские, кочевавшие в те времена по рубежам империи подобно цыганам или степнякам и считавшие себя особенными, казачьего рода, были знакомы с правилами словесности. Так и назвали, следуя своему оригинальному, казачьему, наречию. Они-то, народ бывалый и чинный, не отступающий перед трудностями, и поставили здесь военный форпост, то есть крепость, снарядили ее пушками, окружили рвами, внутри возвели первые глиняные хаты, традиционно выбелив их известью и пышно, нарядно, как будто взбитыми перинами, укрыв их золотистым камышом, как если бы происходило это где-нибудь под Полтавой; вокруг разбили сады, огороды, и говорят – какие! Чего только ни выращивали казаки в этом скудном краю: и арбузы, и тыквы, которые и объять-то было невозможно; и виноград, и персики, а уж яблокам и счету не было! И все это чистая правда, уверяют жители Пёсков, еще их отцы и деды были тому свидетелями. Не иначе, как знали они с самим чертом, заметит кто-нибудь из собеседников, еще и прибавив, будто бы за их особенным, красножупанным словием, и тому в истории немало примеров, воспетых еще в древности слепыми и вислоусыми кобзарями, водилось, мол, и не такое! Или слово какое ведали? Ведь нынче в городе ничего не растет – картошка да лук. То ли земля зачахла, то ли вода в речке стала другой. Да и пересыхает теперь Карасу почти каждое лето, так что над голыми булыжниками на обнажившемся дне месяц, а то и два подрагивает душное, знойное марево, как в бане над каменной.

Славное то было время. Трудное, жестокое. Казаки, несшие в этих краях государеву службу, и сами не понимали, куда их забросило. Немало пролили слез их верные жены, тоскуя по оставленному ими Яику, по милым его берегам, по зеленым склонам, где среди хлебных пашен, среди лугов, утопая в тенистых яблонево-садах, оставались их родные станицы, родные им люди. Не единожды ввязывались суровые и немногословные мужья их в смертельные схватки на негостеприимной этой сторонке и с природными катаклизмами, присущими дикой и выжженной пустыне, и с недружественными инородцами, как пыльный, горячий вихрь с воплями и причитаниями совершающими свои разбойничьи набег-верхом на двугорбых верблюдах и приземистых, злых и необычайно мохнатых лошадаках. Но станица росла, обустроивалась и несла свою нелегкую государеву службу, прибавляясь не только успешно и быстро размножающимися казачьими ребятишками, но и ссыльными, оказавшимися в немилости сначала у самодержавия.

а спустя пару веков – опять же ссыльными, но уже не угодившими Октябрьской революции. Советская власть, в первые же годы своего существования объявившая беспощадный красный террор, высылала в эту безлюдную и безрадостную окраину бывшей царской империи всех тех, кто уцелел от повальных расстрелов. Позже нашли себе пристанище в Пёсках и раскулаченные – русские, татары, мордва, – которых изгоняли из родных, насиженных мест целыми деревнями, и телеги их, груженные нищенским скарбом, годами скрипели по дорогам Урала и Алтая, прежде чем по указанию властей не осели они в этом засушливом и неприветливом краю. А еще спустя несколько лет бежало сюда и коренное население – казахи, оборванные, истощавшие, голодные, в ужасе покидающие свои степные аулы, до последней веревки разоренные коллективизацией, объятые чумой, холерой. В годы Отечественной войны здесь формировались воинские подразделения, которые готовили на передовую и под гром военных оркестров периодически отправляли по назначению с местной железнодорожной станции. В сорок третьем геологи обнаружили за холмами значительные залежи меди, в которой, как в воздухе, нуждался фронт, и небольшое поселение, расширяясь новыми предприятиями и новыми улицами, кишело уже людьми и техникой подобно какому-нибудь огромному растревоженному муравейнику. В горнорудном карьере, за какой-нибудь месяц по-стахановски быстро и с пролетарским размахом углубившемся в самое чрево горячей пустыни, безостановочно кипела работа, день и ночь отсюда слышались грохот камнедробилок, лязг экскаваторов, взрывы, от которых в Пёсках потряхивало стекла. По улицам, подпрыгивая на колдобинах и волоча над собой пыльные тучи, гоняли самосвалы и грузовики. Требовалась дополнительная рабочая сила, и за поселком, у самых копей, выросла череда бараков, огороженная колючей проволокой и с автоматчиками на вышках, куда, казалось, со всех тюрем страны согнали эков. Что ни день, прибывали эвакуированные, беженцы из прифронтовых городов и селений, репатриированные с Северного Кавказа и Крыма, которых не один месяц, хуже, чем преступников, везли через всю Россию, занесенную снегами, в обледенелых вагонах, предназначенных для перевозки скота, не позволив ни одеться, ни заpastись в дорогу. Обросшие, оборванные, умирающие от холода и голода, потерявшие в пути половину своих соплеменников, самых родных, самых близких, – мужчины, женщины, старики, дети, – они сохраняли единственное, что у них оставалось – достоинство, застывшее в их мрачных, орлиных профилях и в выражении глаз, помутившихся от боли – и люди эти вызывали невольное уважение и у воинского начальства, фиксировавшего факт их прибытия, и у местного населения – очевидцев их выгрузки.

Очень скоро бывшая казачья станица превратилась в город, и уж никак не благодаря счастливому стечению обстоятельств, а за холмами, в степи, выросли бетонные и кирпичные стены огромных промышленных сооружений Меднодобывающего комбината.

В августе 91-го в Пёски неожиданно нагрянула правительственная комиссия по использованию природных ресурсов и после нескольких дней, проведенных в карьере и лабораториях комбината, представила заключение, в котором было объявлено об истощении залежей меди и о дальнейшей нецелесообразности разработки горнодобывающего разреза. Предприятие закрыли. Часть техники вывезли, часть, раскуроченная и растасканная, оставалась ржаветь в знойной глубине карьера среди раскаленных камней и скал. И случилось это в то самое

время, когда в стране уже вовсю происходили неразбериха и народные волнения. Вместо торжественного и размеренного боя кремлевских курантов, внушавшего спокойствие и уверенность не одному советскому поколению, вместо репортажей о неизменно высоких достижениях трудящихся: строителей, заводчан, хлеборобов – в деле построения светлого коммунистического будущего во все уголки страны, как будто из ящика Пандоры, хлынули необычайные, тревожные и страшные сообщения, в которых то и дело звучало: Форос, Горбачев, Ельцин, ГКЧП, танки. Все эта кремлевская чехарда, все эти ужасные события, породившие разброд и беспорядки по всей стране, оказавшейся на грани развала, нашли свое отражение и здесь, в Пёсках, как в маленьком зеркале, прокатившись чередой забастовок и митингов. Некоторые предприятия, следуя примеру Меднодобывающего, тоже прекратили существование, а в тех, что уцелели, начались повальные сокращения, не выдавалась зарплата. И многие рабочие и инженеры, поддавшись общему настроению, царившему тогда по всей стране, не имея, чем кормиться и содержать семьи, поспешно покидали город по примеру неких мохнатых существ, бегущих с тонущего корабля. Как будто в стране еще оставалось место, где их ожидали бы с распростертыми объятиями. Отъезжающие почти не торговались, уступали кровные метры свои, так сказать, и не за деньги, за символы, которые те из себя уже представляли. Ибо и с деньгами происходило невероятное: не то что рублевые или трешки, но и крупные, солидные ассигнации, которые совсем недавно были адекватны целому состоянию, прямо на глазах превращались в бесполезные вороха бумаг. А позже, когда и покупателей не стало, люди попросту брали молоток и заколачивали за собой двери, окна, прихватив только самое необходимое, что могло поместиться в контейнер или кузов грузовика. Появились вооруженные банды, которые периодически устраивали междоусобные боины за сферы влияния. И тогда вечерами, а бывало, и посреди дня, то в одном конце города, то в другом гремели взрывы и слышались автоматные очереди. Хотя, если подумать, что тут можно было делить, за какие бесценные сокровища стоило проливать кровь – за развалины, в которые постепенно превращались Пёски?

Пустели дома, улицы. Зияющие темными провалами окна становились привычным явлением для маленького городка. Их можно было увидеть и в частном домостроении, и в пропыленных, покосившихся «панельках» в рабочем микрорайоне, и в камышитовых бараках, продуваемых ветрами, и в кирпичных, более солидных с виду «хрущовках», которыми был застроен городской центр. Иногда на весь этаж чернело одно такое окно, иногда множество, иногда они располагались по соседству то сверху, то снизу с еще жилыми и озаренными по ночам электричеством, в которых наряду со шторами, бывало, светился и тюль, за тюлем угадывался кустик герани или алоэ, а если шторы были раздвинуты, на подоконнике нередко лежала кошка, временами сладко и тягуче позевывая на звезды. А бывало и такое, что окна живые чередовались с окнами вымершими, и в таком удивительном порядке, что фасад дома, трех- или четырехэтажного, весь от фундамента и до кровли, принимал вид огромного шахматного поля, как будто об этом позаботился какой-нибудь космический разум, какая-нибудь мудрая голова, в какой-то момент отделившаяся от далеких сияющих галактик и склонившаяся над городом с задумчивостью грессмейстера. Абсолютно всё, представлявшее хоть мало-мальскую ценность, растаскивалось: сантехника, полы, электрооборудование – всё, до последней лампочки. И подобных квартир в городе становилось всё больше. Когда-то люди десятками лет

стояли в очереди на получение жилья. Какими радостями, какими драматическими событиями были отмечены эти полные жизни квадратные метры! Какие шумные, веселые свадьбы закатывались в этих стенах! Сколько детей увидело здесь свет! Теперь – одни заносило песком, и волны его, легкие и шелковистые, полеживали у подъездов, прорастали травой, взбирались на лестничные площадки, проникали в подвалы. Как будто сама пустыня, лежавшая окрест, решила переселиться под городские крыши. Другие, помимо того, что были в песке, были еще и загажены замусорены, полны какой-то застарелой и устоявшейся вони. Попадая в такие квартиры без окон и без дверей, ступая между пустыми консервными банками, злобно и недружелюбно ощерившимися своими острыми ржавеющими краями, между бутылочными осколками, вселяющими какое-то тревожное предчувствие, взирая на пепел кострищ, на копоть, взметнувшуюся по ободранным стенам черными орлиными крыльями, на неприличные рисунки и матерные выражения, выцарапанные то там, то здесь, не сразу и поверишь, что когда-то эти метры были не так уж и плохи, – в гостиной блестела полировкой мебель, висели ковры на стенах, на кухне издавали звоны кастрюли и фарфоровая посуда, подаваемая к столу. Ничего этого давно уже нет. Вместо кроватей – в грязном углу какая-нибудь истерзанная телогрейка с лезущей ватой. Вместо стола и стульев – кирпичи и булыжники, расположенные кружком и, казалось, все еще источающие прелое и душное тепло ягодиц каких-нибудь спившихся личностей; перевернутый вверх дном деревянный ящик с недостающими планками – тара из-под овощей, которую стащили из какого-нибудь магазина, на нем и вокруг – обрывки газет. Под окном, где еще смутно белеют следы от отопительного радиатора, – высохшая труха испражнений; гудящие мухи; тут же и тряпки, бумаги в красноречивых мазках, шприцы, окурки, объедки; тут же от малейшего сквозняка где-нибудь в смрадном углу, будто бы сокрушаясь своему незавидному положению, покачивается легкий, огромный высохший шар перекаати-поля, пустынного странника, объявшего себя со всех сторон, как будто бы десятком рук, колючими прутьями – его занесло сюда ветром, который разыгрался накануне, как какой-нибудь злой и невоспитанный ребенок. В темном и замусоренном углу пушистая запись, выполненная головней, вынутой из огня: «август 1993 г.». Очевидно, собирались вести календарь. Неподалеку, рядом с грубой матерщиной, еще одна: «Здесь был Жора» – но выцарапанная уже кирпичом. У самого пола, видимо, лень было подняться, третья автобиографическая подробность, но уже более пространный: «Мы здесь балдели 1994. Костян и Игореха», выписанная криво, наспех и с каким-то особенным полетом, говорящим о редком самолюбовании, и посредником между вечностью и человеком послужили уже не зола и кирпич, а каменный уголь.

Кто они, эти люди, кто эти невидимки с творческими позывами, которым захотелось известности, хотя бы такой, – пацаны, уединившиеся, чтобы распить бутылку вина и разойтись? Дома они постараются прошмыгнуть за спиной у родителей, дабы остаться не учуянными, и скорее в постель. Бродяги, попытавшиеся оставить по себе хотя бы какую-нибудь память? Попытавшиеся напомнить всему, что их окружает: оконным проемам, зияющим то черною, то белую бездной, кучам мусора, мухам, человеческим голосам, шуму машин, то и дело звучащим где-нибудь неподалеку, напомнить, что они еще живы, что они еще «есмь»? И чувство брезгливости, которое мы поневоле испытываем, поглядывая на эти бодрые, как СОС, почеркушки, на эти прижизненные эпитафии, мешается в нас с легкой и за-

думчивой грустью. Мы понимаем, что никому-то они не нужны, несчастный этот народец, никому на свете, даже правоохранительным органам, если, конечно, не в розыске. Впрочем, возможно, где-нибудь далеко-далеко от этих мест и по сию пору дремлет у растрескавшегося оконца своего с бесконечными и горькими мыслями о ком-нибудь из этих заблудших жалкая старушка, давно уже выплакавшая последние слезы. Над оконцем ее клонится береза, такая же дряхлая и согнутая, вся во мху и лишайниках, уронившая ветки свои в редяющих листьях, или же деревце калины золотисто-багровое от ягод и осеннего солнца, которое на правах старой и доброй подружки трется о потемневшие стекла.

Говорят, первое впечатление самое верное, и вы, обладая еще и некоторым воображением, приходите к выводу, что Жора был не один, когда глаза его отыскивали кирпич, и те, двое, тоже принадлежали к какому-то не очень симпатичному кругу. И в воображении не только вашем, но и всякого заглянувшего сюда, в это воплощенное безобразия, – будь то даже сосед через стенку или по площадке, более других возмущенный происходящим и закидывающий жалобами соответствующие инстанции, хотя давно уже выкрутил здесь все, что подпало под жало его универсальной отвертки и сыпавший теперь по углам объедки и мусор, проскальзывая вечерами во тьму открытых дверей с полным ведерком, или же случайный прохожий, стыдливо завернувший на запах, чтобы справить нужду, участковый, пожарник, вынужденные посещать подобные глухие и мерзкие уголки из служебного долга, – то есть в воображении всякого, кто бы ни забрел в эдакую квартирку – в воображении изумленном и одновременно подавленном, – хочешь не хочешь, как будто бы ливень, прыснувший из грозовой тучи, вырисовывается образ нетрезвой и притомившейся за день кучки бомжей – грязных, заросших, в пыльных и сквозящих дырами отрепьях, имевших случай после очередного продолжительного странствия по мусорным эльдорадо остановиться здесь на постой, и один из них – Жора, тот самый, автор чрезвычайно немудреной нетленки: «Здесь был Жора» – мирный и довольно завшивевший, с желто-фиолетовой блямбой, увядающею под глазом, в щетине, испещренной хлебными и табачными крошками, в котором вдруг что-то проснулось. Какие-то проблески ума, казалось, ни с того, ни с сего потревожили его рыхлый и пропитый мозг, и он, точно неандерталец, художник-бытописатель далекого первобытного прошлого, взялся за кирпич, треснул им об пол и произвел эту короткую и лаконичную запись... Костян и Игореха – местная алкашня. А может, и нет. Может, преступники, скрывающиеся от правосудия. Но скорее всего – великовозрастные балбесы, выставленные из школы за неуспеваемость и не знающие, чем бы себя занять. Грязные и потрескавшиеся шприцы, валяющиеся среди прочего хлама, – один под подоконником, другой словно в обнимку с зубастым, пыльным и чуть просвечивающим туловищем разбитой бутылки, попавшие вам на глаза в последний момент, когда вы уже собирались идти – напомнили, что стены эти, помимо прочего, послужили и парочке наркоманов. И вы опять, но уже подозрительно и не так однозначно, как прежде, покосились на больно уж жизнерадостную надпись, оставленную Костяном и Игорехой. «Вряд ли это они», – подумалось вам, исполненному человеколюбия и веры в лучшее. А если они? Возможно. Но тогда они взялись за ум, избавились от этой пагубной страсти и влились обратно в число людей. «А может, и нет, может, и не влились», – думаете вы, вспоминая прискорбный случай, когда подобные не влившиеся умирали от «передоза» или заражения крови где-нибудь в уголку, похожем на этот, на глазах

у собственных корешков, обколотых в доску и принявших их бред и конвульсии за счастливую грезу.

Однако подлинными хозяевами заброшенных этих метров их никак не назвать – всю эту шатающуюся и неустойчивую братию, всех этих пьющих, колющихся, нюхающих, в общем влачащих существование единственно ради того, чтобы словить кайф. Они, как перелетные птицы, сегодня здесь, завтра там. А вот проживающих тут перманентно, на постоянной основе, не сразу и увидишь. А увидев не сразу сообразишь, что они-то и есть теперь истинные здесь хозяева. Казалось бы, что тут такого – рядом со старыми оборванными тенетами, потяжелевшими от пыли, от занесенных ветром былинки, песчинок, в новой и упруго подрагивающей сети, отливающей серебром, копошится паук, крупный, мохнатый, домовитый, с довольно угрюмым видом укрепляющий свое новое воздушное жилище сталеподобными нитями. Вроде бы мирная тварь. А между тем с участием этого труженика в сих грязных и много повывавших стенах произошло немало столкновений, закончившихся откровенным поеданием живой и еще трепещущей плоти. В оконные проемы, оставшиеся без рам, совершенно беспрепятственно падает солнце, и под горячие его потоки, разливающиеся ослепительными озерами, выбегает погреться неведомо из какой дыры пугливая и ошалевшая сороконожка, перебирающая своими бесчисленными конечностями. Остановится, замрет на миг и снова в укрытие – одно только прикосновение ее ядовито и чревато ожогами. Где-нибудь под камнем или обрывком газеты прячется скорпион, который только и ждет появления человека, чтобы забиться к нему в обувь или под одежду. Пожалуй, единственные безобидные существа, обитающие в соседстве со всеми этими хищниками из мира насекомых, это гекконы – пустынные ящерки, излюбленное занятие которых, как будто позируя перед камерой, застыть на стене, где-нибудь под потолком, крохотным и довольно изысканным мраморным изваянием. Впрочем, есть мнение, что таким образом они охотятся, а все эти твари: сколопендры и пауки – их пища. Жуки-навозники катают свои шары. Сизифов труд. Они радостно и без усталости лепят их из свежих биологических отходов, едва только научатся перебирать лапками и катают их до самой старости, наращивая слой за слоем, пока не погибнут, раздавленные их тяжестью. В воздухе гудят и передвигаются огромные мухи. В количественном отношении между новыми хозяевами первенствуют, конечно же, они. Неисчислимыми полчищами, закованные в панцири, серые, синие, зеленые, блистающие металлом и позолотой, что делает их похожими на средневековых рыцарей, мухи эти едва-едва ползают по всему, что охвачено разложением, по всему, что еще испускает страшное, невыносимое зловоние и изливается гнилью, млея от невероятного блаженства, замирая и на час, и на два от своеобразного счастья. Но стоит ступить за порог кошке, или собаке, или человеческой ноге в разваленном ботинке, принадлежащем какому-нибудь нетрезвому и неразборчивому путешественнику, как они проникаются ужасным раздражением. Бывшее жилище тут же наполняется их злобным и невероятным гулом; в сверкании быстрых и мощных лат своих, в мельтешении крыльев взмывают они тучами на защиту своих отвратительных владений.

Однако какие бы беды ни коснулись Пёсков, какие бы грозы ни гревели над степным городишком, он был все-таки далек от того, чтобы погибнуть. В районе же речки, где люди преимущественно жили частным хозяйством, и вовсе не происходило никаких перемен. В ветреные часы камыши и тугайные заросли

все так же клонились к земле и дико, подолгу шелестели. Над водою все так же носились зуйки и бекасы, в небо взмывали коршуны. Население по-прежнему пробавлялось огородами и домашней живностью. Весной расцветали сады, под осень собирались урожаи. Можно было видеть за хозяйскими плетнями в тени деревьев яблоки, которые перебирала детвора и женщины, разложенный на просушку картофель, горы пестрой крутобокой тыквы. Так что жизнь по берегам Карасу, невзирая ни на какие события, и вовсе не затихала, пульсируя, как и всегда, в своем незамысловатом, тихом полудеревенском-полугородском существовании. Под окнами глиняных мазанок, облупившихся, местами с оголенную дранкой, как в какой-нибудь далекой среднерусской полосе, бродили куры, сосредоточенно копающиеся в пыли, в недолговечной луже после редкого в этих местах дождя нежились свиньи, из-за зарослей низенькой серебристой джиды слышалось мычанье коров, блеяли овцы, с лаем навстречу незнакомцу выбегали собаки. Ну а серый, длинноухий осел, разгуливающий между домами и резким, пронзительным ревом: «И-аа! И-аа!» оглашающий сонные кварталы, здесь и вообще животное независимое и вездесущее.

Меднодобывающий комбинат когда-то был самым богатым и значительным предприятием в маленьком пустынном городке. Два или три общежития, ведомственная больница, клуб, крытый бассейн с горячими финскими парными, построенные по последнему слову мировой и отечественной архитектуры, – все это принадлежало некогда комбинату и служило хорошим стимулом для поднятия его популярности среди населения. Можно сказать, весь город был обязан ему благополучием. Особенно верхняя его половина, состоявшая из жителей пыльного и подверженного песчаным заносам микрорайона, который едва ли не примыкал своими панельными домами к рудодобывающему карьеру. И вот все они, стоило комбинату закрыться, остались, как старуха у разбитого корыта. А когда перемены коснулись и железной дороги, тотальная безработица охватила и нижнюю часть Пёсков. И здание вокзала, некогда гудевшее людьми, и депо с ремонтными мастерскими, и помещения складов, рабочие и служащие которых подпали под сокращение, были теперь настолько обезлюдевшими, что казались вымершими от какой-нибудь эпидемии.

Неизвестно, как сложилось у тех, кто бежал, но тем, кто остался, было явно не позавидовать. Люди попали в ужасное положение. В катастрофическое. Не имеющим ни работы, ни каких-либо существенных накоплений, долгие месяцы им приходилось обходиться без света, отключенного за долги, без телевидения, без капли воды в кранах и смесителях, издающих при повороте барашков одно лишь тоскливое и пустое урчанье; не редела вода в унитазах; казалось, навеки замолкли телефоны. То есть люди остались совершенно без всяких удобств. Чтобы хоть как-нибудь выжить, приходилось продавать утварь, посуду, что-нибудь из мебели. С наступлением холодов остатками мебели топили буржуйки, потому что батареи центрального отопления не подавали признаков жизни. И несколько этих странных месяцев, проведенных в опустевшей и молчаливой квартире, в совершенном безденежье, за пустым столом с единственной засохшей корочкой хлеба, за ужином или за обедом, вызывающими одно лишь ощущение горечи и внутреннего протеста и почему-то всегда застающими врасплох, – причем без стопочки беленькой для возбуждения аппетита, без бокала вина и даже без пива, без чего немислима ни одна нормальная и здоровая компания, ни один правильный человек, застави-

таки пёскинцев взглянуть на себя по-иному. Как бы со стороны. И голодные, растерянные, мучимые желудочными спазмами и нездоровыми мыслями, бессонницей, проистекающей от этих самых мыслей и доведенные до отчаяния, жители города неожиданно увидели себя не такими, как прежде. Они не узнавали себя. Мужчины, прозрачные, как леденцы, и колышимые ветром, давались диву, насколько они не бриты, не стрижены, что под кожу их въелась грязь, а одежда на них мятая и в пыли, и ее ни постирать, ни погладить. Отощавшие дети закидывали большие, распухшие головы на спичечной шее и помаргивали воспаленными глазами. Просили хлеба, мороженого. Женщины удивительно напоминали старух и обходились без маникюра, без педикюра, дефилировали по улицам в рваных платьях. Охватывали обида и недоумение: куда же оно подевалось, то удивительное время, когда человек и его мозолистые руки, и его бессмертная душа, о которых так много было сложено песен, были главным и единственным богатством страны? Почему так всё неожиданно исчезло, развеялось, как дым, вместе с коммунизмом, коего так и не случилось? Достойная заработная плата по горячей сетке, молоко за вредность, путевки на курорты и в санатории, грамоты, переходящее Красное Знамя – все это теперь казалось удивительным сном. Демократия, о которой было объявлено, как о новом государственном строе, как о народном завоевании, сюда пока еще не докатилась. И что она собой представляла, тоже было пока неясно. Известно было одно. Что отменили цензуру. И теперь вся страна от Калининграда и до Владивостока с удовольствием и захлеб материлась и с самым серьезным видом рассуждала о сексе – по телевизору, по радио, в газетах, а депутаты Госдумы всякий свой съезд заканчивали мордобоем. И люди поняли, что они никому не нужны. Голод, грязь, которая их заела, безденежье требовали незамедлительных действий.

Долго они ломали головы, как быть. Спорили, поднимали кулаки один на другого, гневно взирали, стекались всем городом на митинги – когда организованно, волнуемые горячими и убедительными речами, с плакатами, на которых от руки было написано: «Требуем работу!», когда стихийно, собираясь кучками у подъездов, у бездействующих магазинов с пустыми прилавками, и вновь погружались в мучительные размышления.

Однако проблема была решена. И решение-то оказалось несложным. Одним розовым и сияющим утром все попросту воротились на свои же места, с которых их некогда попросили: жители верхней части – в карьер, нижней – на железную дорогу, но уже в ином, несколько необычном для себя качестве.

Рабочие и служащие Меднодобывающего комбината трудились уже не в копиях, где они провели полжизни, пробиваясь в земную твердь и выдавая на-гора залежи медоносной руды, а объектом их деятельности становились крутые и высоченные склоны отвалов выработанной породы. Проходчики, механизаторы, маркшейдеры, взрывники, начальники участков – все это кануло в Лету. Теперь все были равны, ибо все переквалифицировались в вольных старателей. Разумеется, о добыче меди, и тем более в прежних, промышленных масштабах, и речи уже не шло. Не такое это дело, которое решается на кухне или за стаканом вина. Однако в руде, помимо самой меди, содержатся еще и сопутствующие минералы, которые тоже обладают достаточной ценностью и на которые прежде из-за их незначительного содержания попросту не обращали внимания. Кварц, малахит, изумруд, аметист. Это известно и школьнику. На их добычу и решились бывшие рабочие и служащие Меднодобывающего предприятия.

Надо сказать, что встреча с этими минералами непосредственно в природе – редкая удача, и всякий старатель, приметив, наконец, синюю или зеленую жилку или пуще того – кристаллические наросты, как будто лишайниками облепившие какой-нибудь бульжник, начинает работать над своей находкой так бережно, с такой тщательностью избегая какого-нибудь неловкого движения и почти не дыша, и вознося к Богу молитвы, как если бы под молотком у него был не камень, а новорожденный младенец. Иначе драгоценная жилка или кристаллы, – и это охотно подтвердит любой опытный старатель, – словно возмутившись на нетактичное с собой обхождение, могут тут же исчезнуть. Стоишь и глаза протираешь. И думаешь, не иначе как голову припекло, вот и пригрезилось... А на фоне огромных рваных бульжников или природных скал, кажется, все еще плывут, подрагивают, все еще испускают свое волшебное, завораживающее сияние крупные, прозрачные, как будто бы виноградины, крапины аметиста. Синие, фиолетовые, полные бликами, брызжущие искрою, горько и необратимо гаснут они у самого носа. Или качнется и вдруг пропадет в пыльном и потрескавшемся камне, как будто бы провалившись в него, блестящая травянистая жилка, которой только-только касался руками. А ведь это изумруд, изумруд! – и стоит он огромных денег... А не то поднимутся прямо у тебя на глазах, отделившись от мертвой породы, сросшиеся в огромную гроздь кристаллы горного хрусталя – зеленые, голубые, сизые – качнутся, сверкнут, поразят воображение удивительными, какими-то лунными переливами света и граней, и тут же их нет, и подумаешь, что это был дым. Сигаретный дымок, его легкомысленная завитушка, которую занесло от кого-нибудь из соседей, решивших перекурить.

Обвесившись мешочками на тряпичных лямках, с утра и до ночи копаются старатели в отвалах отработанной породы, ползая по их склонам, как по горам, в поисках драгоценных минералов. Загорелые, с дубленой кожей, покрытые пылью, в рваных и изношенных робах, они совершенно сливаются с каменистыми склонами, как будто животные или насекомые, согласно законам мимикрии под действием каких-то таинственных сил природы мутировавшие под окрас среды своего обитания. Их лица потемнели и обрели зеленоватый оттенок, как камни медоносной руды, глаза их загораются фосфорическими огоньками, одежда на них такая же рваная, как порода, вывороченная взрывами. Их не видно и не слышно. В море абсолютной тишины, разлитой под яркими и словно плавящимися в воздухе потоками света, время от времени разносится лишь легкий стук и позвякивание молоточков, которыми они распознают и раскалывают каменные жилы. Так в степи, в выжженных былинках чия или в верблюжьей колючке, не так-то просто обнаружить кузнечиков, хотя их надоедливый стрекот, бывает, безостановочно стоит в ушах.

Раз в неделю их навещает «крыша». Обычная бандитская шайка. К отвалам породы, вознесшимся в самое небо своими кривыми и острыми пиками, на склонах которых не увидишь ни кустика, ни пучочка травы, качающей зелеными метелками, – одни лишь разбитые, раскаленные камни, пыль да песок, подкатывает большой, мятый внедорожник, судя по внешнему виду, не единожды побывавший в переделках. Здесь его ждут, хотя и не любят. Ждут, потому что бандиты на всю неделю обеспечивают их съестным и водой, а не любят, потому что с каждым приездом старатели вынуждены жертвовать чем-то таким, что хотелось бы оставить себе. Ведь помимо шпаны с автоматами существуют еще и ювелиры, и китайские контрабандисты, то и дело пересекающие границу с опасностью для жизни, коллек-

ционеры, приезжающие с материка, и все они хорошо платят. Куда больше, нежели бандиты. Едва в степи закружится пыльный вихрь, мечущийся по извилистым песчаным дорогам между утесами и холмами, старателям уже известно, что это за гости. Вот из золотящегося вдали облака, плотного и поднимающегося к небу, выныривает тупой, подпрыгивающий на взгорке автомобильный капот, блеснет лобовое стекло, послышится гул мотора. И самое сокровенное из того, что они добыли своими невероятными трудами, изо дня в день обжариваясь на солнце как гриль на огне, своею кровью, раня об острые камни руки и ноги, своим невообразимым упорством, граничащим с безумием, старатели тщательно укрывают в щелях между камней, с опаской поглядывая вниз, в степь, на подкатывающий внедорожник. Хотя знают, бандиты вверх не полезут. Кому хочется ломать ноги на этих отвалах! Но так, на всякий пожарный... Они не любят братву. Боятся их автоматов. Ей-богу, как комары, заедающие по вечерам, которых откуда-то приносит ветром, лишь только на землю падают сумерки.

Между тем бандиты выбираются из машины. Лениво, нехотя принимаются за разминку. Поматывают головой, точно какие-нибудь борцы, готовящиеся к схватке. Проверяют оружие – щелкают затворами, вглядываются в прицелы. Среди них, будто бы взрослый среди малышей, выделяется Серый, их главный. Он и ростом повыше, и в плечах поплотнее, и взгляд у него более колючий и недоверчивый – им он придиричиво, медленно обшаривает все вокруг: и пустынные склоны отвалов, и кусочек неба над ними. Там, в жаркой и пылающей бездне, на распластанных крыльях одиноко парит орел, выписывая свои широкие и бессмысленные круги, то куда-нибудь пропадая в ослепительных сферах, то опять ненадолго показываясь.

– Ну и жара! – сетует кто-то. – Сейчас бы пивка да на море, под пальмы.

Старатели на склонах напряженно застыли, молчат, будто бы сами превратились в рваные, пыльные и огромные валуны, к которым прилипли.

– По-моему здесь вообще никого, – тихо переговаривается братва.

– Это уж точно. Живьем можно испечься.

Серый молчит. Кажется, он что-то выжидает, после роняет сквозь зубы: «Эй!» – и вращает указательным пальцем. Кто-то из братвы вскидывает автомат, и устоявшаяся, знойная, залитая белым, обжигающим солнцем тишина, в которой лишь с свистом временами проносится ветер, тревожа редкую степную растительность, раскалывается, как орех, по которому безостановочно лупят кувалдой. Мощно и плавно взмахивает крыльями одинокая птица, проваливается ввысь, в бездну, и через мгновение превращается в точку, а после и вовсе сливается с солнцем.

– Эй, Ларио-о-о-нов! – кричит один из бандитов.

Хотя какие они бандиты – юнцы, в том числе и их главный, вчерашние подростки. На них выцветшие джинсовые распашонки, джинсовые штаны в обтяжку, которые они с удовольствием сменили бы на шорты, позволь им бандитская этика. Но об этом даже и помыслить нельзя: серьезный человек не опустится до того, чтобы выставить на обозрение коленки и ляжки. Даже в Африке. Даже в пекле у черта. Зато, как будто дети с пока еще не окрепшим умом, они важничают друг перед другом оголенными руками, грудью, бицепсами, накачанными в подвалах и любовно украшенными воровскими наколками в виде колючей проволоки, разного рода крестами, звездами. На мышцах груди, чтобы все видели: «Не забуду мать родную!» На стопах – «Они устали, но еще идут...» На спине – китайский извивающийся дракон или голова змеи. Романтика!.. Легкие русые или каштановые

бородки, облепившие их юные лица, будто бы тополиный пух, делают их слегка похожими на афганских моджахедов. По вечерам, расслабившись в тесном кружку, они покуривают марихуану, могут позволить себе женщин, дорогое, качественное спиртное в местном и единственном на весь город ресторане под знаменитым названием «Арагви», где хозяином одноглазый грузин, пострадавший у себя на родине в дни путчей; они давно забросили школу, родители для них не имеют значения, но кожа их лиц и тел, отливающая бронзой, еще недостаточно загрубела и выделяет нежные, теплые запахи молока, от которых у их неразборчивых любовниц кружатся головы и не иссякает желание.

– Эй, Ларионов, мать твою!..

Наконец на склонах происходит какое-то движение, слышно, как покатишься, зашуршала под чьими-то ногами зыбкая галечная осьпь. Ступая с камня на камень, неспешно, плавно, почти как на крыльях, нисходит с отвесной, мрачной крутизны отвалов кто-то щуплый и коренастый. Голову его покрывает белая, выжженная солдатская панاما. Словно видение, словно мираж, наваянный горячим солнцем пустыни, приближается он к тем, кто его дожидается.

Если вы когда-нибудь видели начищенный от сердца солдатский сапог, победно, умопомрачительно утопающий в ваксе, вы можете представить, каков он на вид, этот человек, этот Ларионов, отшельник рудных отвалов. У него чуть вытянутое и черное, как эбеновое дерево, лицо. Надо лбом, над парюю утомленных сине-серебряных глаз веют редкие поседевшие волосы, беспорядочно выбивающиеся из-под панамы. Натруженные, узловатые руки его тоже черны, они как будто облиты смолой. Не менее черны и его ноги, выглядывающие с коленками из-под рваных, закатанных штанин, похожие на кривые и сереющие пеплом головешки остывающих кострищ. Черный человек! Такие же черные люди, но только с монгольским разрезом глаз, рушащие кайлом и лопатой вечную мерзлоту якутского Севера, добывают из глубин, никогда не видевших неба, синие, застывшие льдинки посвечивающих слезою алмазов. Такие же черные люди, живущие бок о бок со свирепыми клыкастыми бабуинами и стремительными леопардами, летающими молниями по саванне, терпеливо, неделя за неделей, погружаются в горячее каменистое чрево Южной Африки и там, во мраке извилистых коридоров, укрепленных шаткими подпорками, будто бы подземные гномы, выковыривают такие бриллианты, которые позже, выйдя из-под рук ювелиров, украшают короны монархов. Но Ларионов – русский. Благодаря отшельническому образу жизни, которому преданы обыкновенно люди его профессии, он мало чем отличается от духа или привидения, но существо он все же земное и проникнутое все теми же земными потребностями и интересами, как и всякое другое человеческое существо. В руках у него геологический молоток с хромированным покрытием, – с ним он не расстается ни на минуту, как дирижер с дирижерской палочкой, – а на боку сумка, старая, выцветшая, с нитками бахромы, выющимися из потрепанных швов, но видно, что не пустая.

– Ну, что там у тебя? – бесцеремонно указывает на сумку Серый.

Серый ленив и спокоен. Черты его крепкого молодого лица даже довольно сумрачны, как будто он только что с похорон. Серьезные люди: киллеры, мафиози, известные воры – личности, ушедшие в прошлое, которые иной раз мелькнут теперь разве на киноэкране или по ящику, именно так и выглядели, обставленные ореолом тьмы и загадочности. К тому же невыносимая жара, когда ты чувствуешь себя не лучше шкворчащего на сковородке сала, тоже как-то не располагает к излишнему

трепу. И каждое его слово скупое и решительно, как будто несет в себе силу последней инстанции. Но и Ларионов мужик тертый. Огонь, воду, медные трубы – он все прошел. Бывший главный геолог ныне уже упраздненного предприятия, он главный и здесь, на отвалах, специалист, состарившийся на своей профессии. Осваивая ее, он и почернел, залоснился той необычайной кожей, которую за многие и многие годы, проведенные под открытым небом в походах и у костров, дубили дожди вперемешку с ветрами, закалили снега, солнце сделало ее неуязвимой и придало ей блеска и почти негритянского колера. Никто лучше него не знает особенностей старательского дела, что актуально именно теперь, когда кругом нищета, разброд, безработица. Только он один со стопроцентной гарантией в состоянии определить и ценность породы, и перспективу ее разработки, и как правильно и с наименьшими потерями извлечь из этой породы соответствующие кристаллы драгоценных минералов. Благодаря именно ему, Ларионову, полгорода еще живо. А некоторые, кто начинал под его руководством, обзавелись уже и собственным бизнесом. Он понимает, что человек он нужный – и тем, своим, которые в эти минуты, пока он здесь, с бандитами, ждут его наверху, на каменных склонах, и, собственно, бандитам, которые тоже в какой-то мере свои – ведь если бы не их Калашниковы, на шею старателям давно бы сели и милиция, и налоговая, и пожарные, и эпидемстанция, и нижние бандюганы, не оставляющие надежды на полный контроль над Песками. Тогда и смысла не было бы копаться в этих отвалах.

На угольном лице Ларионова, среди глубоких морщин, сияющих бисеринками пота в тени старой и ободранной панамы, появляется тонкая, плутоватая ухмылка. – Нет, сначала ты, сынок. Как договаривались...

Серый пожимает плечами и подает знак. И тотчас же у ног его в кожаных сандалиях, в вырезках которых теснятся его кривые, мосластые пальцы, покрытые пылью, выстраивается батарея из крупных пластиковых емкостей, полных свежей магазинной воды – чистой, голубоватой, как весеннее небо в ясную и утреннюю погоду, и глаза Ларионова удовлетворенно щурятся. А когда рядом с водой под ловкими и быстрыми руками юных бандитов, поигрывающих мышцами и синих от татуировок, расстилаются листы целлофана, и на них, как будто на скатерти-самобранке, возникают одна за другой стопки лепешек, запеченных в тандыре, мягких, с хрустящею коркой и издающих невероятные душистые запахи кизячного дыма, лицо Ларионова растягивается в улыбку, и глаза его, синие и тонущие в серебряном блеске, и вовсе пропадают в бесчисленных глубоких морщинах. В довершение всего бандиты выгружают из зева распахнутого багажника несколько коробок рыбных консервов, пару коробок тушенки, полные и увесистые сетки картофеля, лука, овощей. Движения их становятся все более суетливыми. Их лица уже налились розовой краской, тела их поблескивают в поту, с каждым ударом ветра покрываясь пылью и слюдяными песчинками. Они явно торопятся выбраться из этого пекла и вернуться обратно, в город, где сразу же по прибытии разлягутся в тени первого же попавшегося дома или под сенью деревьев – с баночкой пива, с сигаретой в зубах, а вечером, когда небо над городом остынет и невидимые хоры цикад застрекочут по всем закоулкам, отправятся к женщинам, которые наверняка их уже ждали.

Ларионов доволен. Ничего не упущено. Всё, как было договорено. Бандитам камни, – Ларионов еще на рассвете лично отобрал у каждого из старателей самые лучшие, самые качественные экземпляры, ибо во избежание недоразумения все

должно быть по-честному: цезарю цезарево, а им, старателям, – «крыша» и продовольствие, причем такое, какое в состоянии раздобыть в такое нелегкое время, обусловленное тотальным дефицитом, только она, братва.

– Старик, а может, водки? – хмуро и с какой-то наигранной ленью и в интонации, и в каждом движении крепких и молодых мускулов ухмыляется Серый. – Твои наверняка давно не гуляли...

Ларионов пучит глаза, вскидывает к самому носу хромированный свой молоток и негодующе машет.

– Серый! Ну, ты как хреновый студент! Я тебе что, не говорил? Камень – это не золото! Это золото, если оно есть, по любому оседет... А вот камень, камень – штука капризная, он, как женщина. Ему еще и угодить нужно. А как увидит пьяную рожу – всё, пропал. Был – и нету его.

Ларионов хотел прибавить еще и относительно техники безопасности, мол, пьяному здесь вообще не место. Если какой-нибудь чудик покатится с высоты, на которой приходится работать, то и костей не собрать. Но Серый уже отвернулся, повелительно вскинул руку, и юные бандиты, повеселев и игриво подталкивая один другого в спину и бока, совсем как расшалившиеся школьники, начали запрыгивать в машину.

Рукотворные горы (некогда наваленные урчащими и трудолюбивыми самосвалами, колоссами механического мира – КрАЗами и БелАЗами, шины которых, размером с дом, и прочие гигантские останки, запорошенные пылью, еще можно увидеть то там, то здесь на каменных серпантинах заброшенных копей) старатели покидают лишь в поздние сумерки. Усталые – без рук, без ног. Далее – сон, еще до света обрываемый грохотом будильника, поглощение завтрака у черного кухонного окна, в блеске которого за собственным отражением едва-едва угадывается рассвет, заспанная жена с всклоченными волосами. Тараканы в углах: шур-шур, шур-шур. Муха, бьющаяся в стекло. И вновь на отвалы.

И только в субботу и воскресенье микрорайон, в котором проживают их семья и который всю рабочую неделю стоит будто бы вымерший на фоне холмов и дикой, расстилающейся степи, начинает необыкновенно полниться голосами – и не только детей и разного возраста женщин, от девушек и до древних старух, но и мужчин, – их жизнерадостными и жизнеутверждающими басами и баритонами. На лестничные площадки из приоткрытых дверей, вызывая слюну у соседей или у нечаянного посетителя, взбирающегося по лестнице, совсем как в далекие и счастливые годы, выносятся жаркие, аппетитные дымы бешбармаков, супов, яблочного пирога, пышущего и поднимающегося в чаду чьей-нибудь электрической духовки. Чей-нибудь умный кот, умильно мурлыча и выгибая тощую спинку, трется о лодыжку хозяина и покашивает вверх золотистыми вороватыми глазками. Чья-то собака носится вприпрыжку и оглушительно лает, вскидывается на задние лапы, а передними лезет в объятия, демонстрируя длинный красный язык в пупырышках и отточенные клыки, с которых на хозяйские штаны и рубашку тянутся слюни, мало чем отличающиеся от фруктового киселя. А где-нибудь через стенку или даже в соседнем доме, в сверкающем кафельном закутке бурлят потоки воды, пенится мыло, льются тягучие и душистые, как мед, шампуни, мелькает мочалка. Но не так-то легко женским слабым рукам хотя бы чуть-чуть высветлить и привести в приемлемое состояние побуревшую, дубленую кожу завязтого своего старателя, – мужа или возлюбленного, – и бесполезная трата сил, разумеется, не возымевшая

какого-либо эффекта, заканчивается, как, впрочем, и ожидалось, сумбурным и невероятно сладким совместным купанием (остается лишь удивляться, как они не захлебнутся в этой узенькой ванне, полной воды и летающей пены, двое взрослых, двое счастливых в облике ню и до крайности возбужденные долгожданною близостью!) – с жадными поцелуями, с объятиями, исполненными пыла и страсти, временами напоминающими жестокою и непримиримую борьбу двух исполинов – такова уж человеческая природа, – и, разумеется, с предварительно задвинутою щеколдой на мокрой двери: детям такое видеть необязательно.

А где-то уже включен телевизор, и дряхлый диван, с удовольствием поскрипывая, принимает в свое продавленное ложе укладывающегося на отдых своего давнего друга, завернувшегося в халат. В руке у мужчины сигарета, в другой – пульт, и он направляет его на экран, желая ознакомиться с последними новостями из далекой столицы. И экран наливается бирюзой, бирюза сменяется мельканием нудных и не понятных для жителей Песков рекламных роликов, в которых живо и с изощренностью, на какое только способно современное телевидение, перевозносятся, как будто бы пища богов – и никак не меньше, какой-нибудь овечий сыр из Италии, баварские колбаски, без которых, якобы, не обходится ни один стол, подгузники, доставленные откуда-нибудь из Самоа. В роскошном и соблазнительном свете мелькают кабинки и коридоры каких-нибудь косметических салонов, похоронное бюро, служащие которого торжественно и под надлежащую музыку препровождают какую-нибудь знаменитость в последний путь – в полированном гробу европейского качества, с бронзовыми ручками, под сенью крепового балдахина с шелковыми кистями. Очередной ролик, сопровождаемый проникновенным полупешотом скрывающейся за кадром доброжелательницы, рекомендует интимное мыло для некоторых соответствующих органов тела. Вся эта фонтанирующая коммерческая чушь здесь, в Пёсках, никого не трогает, предложи они хоть звезды с небес. Ибо в Пёсках все равно ничего этого нет, не говоря уже о мыле, о котором сообщается с доверительным придыханием.

Но вот и она. Наконец-то! Ее появление на экране знаменуется всплеском коротенького и ненавязчивого музыкального сопровождения. Наконец-то! Какая женщина! Вы чувствуете, как вы истосковались по ней, по этой ведущей, по этой звезде телеэкрана, по ее глазам, по ее чудным формам. И мимические мускулы на вашем лице начинают благостно оживать, стул под вами, или диван, или что бы там ни было приходит в движение, принимается визжать, поскрипывать, и все это продолжается до тех пор, пока вы не замираете в тихом и вожделенном восторге. Как она хороша!.. Как хороша!.. Слава богу, слава богу, что существует телевидение! На протяжении уже многих лет каждые субботу и воскресенье, в заслуженные выходные, бросив, наконец, чертовы эти отвалы, вы имеете счастье зреть ее на экране – и каждый раз при виде ее непостижимой красоты, ее бюста, талии, осанки, какими могут быть наделены лишь богини, оглушенный ее нарядами, доставленными, несомненно, из Лондона или Парижа, вы потихоньку и неотвратимо сходите с ума. «О, эти блондинки!» – ерзаете вы на диване или на чем бы то ни было в волнуящем и каком-то мальчишеском упоении. Где-то глубоко, у самого сердца, как будто в потемках, рождаются и множатся, блуждают и не находят выхода эпитеты самого высокого свойства: «Персик, малина, солнышко – ну что? Что там еще! Быть может, котенок?..» А какие у нее умные и большие глаза! Не глаза – небо! А что за ресницы – густые, изогнутые, длинные, так и слышится их таинственный шорох!

Шорох дождя, листьев. И тень от этих ресниц, такая же пространная, как если бы от листьев, ложится на нежные припухлые ее щеки, рдеющие румянцем, скользит по овалу ее прелестного, слегка удлинненного лица. Крупные губы ее очерчены мягко и нежно, совсем как у ребенка и чуть приоткрыты, как будто в ожидании поцелуя. Вашего, вашего поцелуя. Но вот ведущая слегка поворачивается, шейка ее меняет угол наклона, и на нижней губе ее, на слое помады, появляется блеск, влажный, умопомрачительный, – о, она слишком очаровательна, слишком – чтобы оставить кого бы то ни было равнодушным. А мгновение спустя она и вовсе представляется вам существом нереальным, гипотетическим, совершенно неземным. И мысль, что это создание – обычная женщина и по окончании передачи вернется домой и ляжет в постель с мужем или любовником, каким-нибудь плюгавым и лысеющим мужичком, набитым деньгами, – мысль, которая не может не прийти в голову каждому при виде такого совершенства, – покажется вам и вовсе возмутительной похабщиной. «И почему она там, в Москве? – подумаете вы. – Почему не здесь, за стенкой, на кухне? Ведь вы-то наверняка получше». Ощущение, что она вот-вот выйдет, откинув занавеску, за которой скрываются горы немой посуды, сверкая глазами и с таинственной полуулыбкой на губах, покачивая при этом роскошным мраморным бюстом, белеющим в глубоком вырезе, заставит вас сладостно замереть, и вот она уже на диване, вся – с бюстом, с большим и покрашенным ртом, со всем остальным. По комнате понесет благоуханием: «Шанелем», пудрой, помадой. Благо, если вы стары и у вас все уже позади. Благо, если темя ваше, поблекшее и отливающее пергаментом, накануне утром в процессе мытья потеряло последний волос. Тогда вы тихо и, будто бы извиняясь, вздохнете и только. А если вы молоды, и кровь просто бурлит в ваших жилах, сны неумны, а энергия мышц такова, что от них одно беспокойство, то с вашим организмом и в первую очередь с гениталиями, которые, как известно, неуправляемы и роднят человека с темным и низменным миром, миром животных, будет твориться черт-те что! При одной только этой мысли! Зато уж в сердце, где, по словам теософов, обретается Бог, могут ожить чудные рафаэлевские образы. Не сразу, как-нибудь после. Благодаря чему в одну из бессонных ночей при некотором старании у вас получится накропать стихи, например, о прекрасной даме:

Ты прошла, словно сон мой легка...

И вздохнули духи, задремали ресницы,

Зашептались тревожно шелка...

Между тем за плечами очаровательной дикторши проклевывается изображение Спасской башни, стройных и могучих стен, увенчанных боевыми зубцами, кремлевских курантов, короткая стрелка которых, широкая и медлительная, как будто плененная двумя огромными римскими цифрами, возвышающимися над ней тяжелыми и угловатыми конструкциями, похожими на каракатиц, вооруженных палками и дубинками, робко посматривает на длинную, в ожидании подмоги, а та, легкомысленная, тонкая, ранимая, со вздернутым носиком – с изысканностью балерины, едва-едва задержавшись, чуть-чуть задумавшись, вдруг под бодрый щелчок, производимый часовым механизмом, легко и элегантно перепархивает от одной цифры к следующей, от одной – к следующей. И так – по кругу, по всему циферблату, который, кажется, еще дрожит, еще колеблется в отзвуках дивного, затухающего кремлевского перезвона.

Дикторша фантастически улыбнулась, сверкнула зубами, как будто одарила пригоршню жемчуга, сообщила, что в эфире новости, и тут выясняется, что

дата и время, о которых упомянули ее уста, не соответствуют действительности, и выпуск оказывается устаревшим, и вы уже видели эту передачу и раз, и два. Да что же это такое! Вы обеспокоены, вы все еще на диване, вы нервно тушите сигарету об пол, мимо пепельницы, теряете праздничный настрой и чувствуете, что не прочь очутиться в эти минуты где-нибудь в иной части света, пусть даже на враждебном Западе: в Париже, в Лондоне, на Гавайях, только не в Пёсках, в этой дыре, где не только телевидение сплошная проблема, но и радио отключено. Не доставляют газет. Не везут! Там, на Западе, если не по ящику, то хотя бы перелистывая прессу, можно быть в курсе происходящего в собственном государстве, в мире, в спорте, в политике, можно ознакомиться с каким-нибудь удивительным научным открытием, разузнать результаты матча ЦСКА – «Крылья Советов» или как Тайсон нокаутировал Джексона. Ведь существует же все это, живет, дышит, пульсирует! А здесь произнеси слово «газета» или «Союзпечать», никто и не поймет, как будто это по-китайски. Молодежь так и вовсе не имеет представления о функциональной принадлежности тех стареньких, полуразрушенных фанерных киосков под вывесками «Союзпечать», что по сию пору пылятся на пёскинских перекрестках крест накрест заколоченными и полузасыпанными песком. Хорошо, если на станции, на скамейке, какой-нибудь рассеянный пассажир, следующий транзитом, по забывчивости оставит помятый и свернутый в трубочку номер «Известий» или на худой конец «Правды»...

Вы в негодовании. Вы просто не находите слов, как внезапно дикторша пропадает, эфир принимается трещать, хрипеть, – похожие помехи испускали радиоприемники далекого полувекового прошлого. И в кипящей на экране пене, словно пытаясь пробиться, сквозят какие-то голоса, незнакомая речь, не то итальянская, не то китайская, не то арабская, странная музыка смычков и роялей пытается вырваться откуда-то из шипения и неизвестности. Но вот экран вновь вспыхнул, налился жизнью: на переднем плане, и почему-то в свете прожекторов – бараньи головы с тяжелыми, закрученными спиралью рогами, юрта в степи, трактор где-то совсем неподалеку тянет плуги, выворачивая пластами черную, сочащуюся жиром землю. Слышится казахская речь и – вдруг уже не казахская, а сквозь гром и переливы лихого, отчаянного гопака звучит и блуждает украинская мова, и тем не менее ни украинцев, ни гопака, ни взрывающихся пузырями шаровар не видно. Мелькнул и исчез хор имени Александра – ряды военных беззвучно и счастливо разевающих рты, фуражки с удивительно высокими тульями, аксельбанты...

Тщетно давит на кнопки своего капризного пульта незадачливый обожатель бирюзового экрана, тщетно и бессильно, едва не плача; вытягивается на бетонной крыше его душевной и пыльной панельки металлическая жердочка антенны устаревшей конструкции, изъеденная ржавчиной, согнутая ветрами и пыльными бурями в поисках телевизионных сигналов, витающих в глубинах Вселенной. Десятки, сотни подобных антенн по всему микрорайону, по всем Пёскам, образуя целые джунгли ржавых и сгорбленных удилиц, совершенно напрасно тянутся к небу, закидывая в жаркую и прозрачную синеву свои затейливые и хитроумные приманки. Это и параллельные металлические трубки, соединенные в виде гигантских скрепок, между которыми, по задумке умельцев, как сельди в сети, непременно должны были бы запутаться телевизионные волны, посещающие ближайшие к пёскинским крышам слои атмосферы, и массивные, с особенным выражением стонущие дуги из медной пружины, и полутораметрового размаха вертикальные крылья, выре-

занные из алюминиевого листа и напоминающие бабочек, и гигантские воронки, один к одному схожие с теми, при помощи которых хозяйки переливают молоко из бидонов в бутылки и которые одною лишь формой и оригинальностью мысли должны были бы привлечь внимание далеких и неведомых спутников, бороздящих космическое пространство. Но ни единым адекватным сигналом не ответят они, ни единою передачей, которая б соответствовала по времени и не оборвалась на самом интересном, не исчезла бы в помехах: ни кино, ни футбольной трансляцией ни новостями, ни концертом, – ничем, что могло бы порадовать и утолить духовную жажду среднестатистического пёскинца, – эти извечные межгалактические скитальцы, такие же неконтактные, такие же непостижимые и сумрачные, как и древние боги с развевающимися бородами, обитающие где-нибудь там же, во тьме, вне времени, в вечном и немислимом холоде недосягаемых пределов.

А между тем субботнее утро в самом разгаре. Покуда мужчины пытаются найти общий язык с телевизионным пультом, или уж кулаком приводят в порядок изображение на экране, или, уже вконец разочаровавшись, курят себе на балконах или борются с детьми, которые настырно лезут к ним на колени, женщины, радостные и накрашенные, окропив себя духами, какие у них нашлись, принаряженные, как будто на праздник, бегают из подъезда в подъезд позаимствовать соли, сахара, лука, горсточку чая. Только и слышно, как дробью постукивают по ступенькам их шпильки, надетые по особому случаю. Развеваются складки их юбок, усыпанные цветами, пестрящие в клетку, в крапинку, в горошек. И пусть измученные бигудями их кудри и локоны тронуты инеем, пусть платья не новы, кофточки пообвисли, о моде и говорить не приходится, зато все отутюжено, подлатано, подкрашено. А в глазах их, сияющих счастьем, в мешочках под ними, в морщинках, в улыбках, которые вдруг расцветут на губах их, напомаженных, как будто на именины, нет-нет, да и проглянет смешная и наивная девчонка. И неважно, найдут ли они сегодня горсточку чая, соли или головку лука, ради чего они, собственно, и выскользнули, важно другое – как можно скорее, сию же минуту поделиться распирающими их чувствами, счастьем, которым они светятся. А не поделишься, так ведь можно и с ума сойти!

Слегка уже полная, на шпильках, какая-то женщина выбежала из подъезда и едва ли не лоб в лоб столкнулась с другой, тоже надушенной и тоже на шпильках, и тоже вдруг обнаружившей отсутствие лука, сахара или все той же щепотки соли, и уже через минуту, присев на скамейке, приятельницы всю оживлены разговором и даже, понизив голос до полупшепота, некоторыми подробностями прошедшей ночи, – конечно же, в рамках дозволенного. Смеются, хохочут – помолодевшие, красивые. Лузгают семечки, угощаются леденцами. И число их растёт, и их уже не две, а пять! Десять! А вскоре уже и у следующего дома объявляется такая же пестрая, пышная и благоухающая компания – со взмывающими на ветру юбками, со взбитыми локонами, которые каждую минуту приходится поправлять, стучащая каблучками. И у дома, что расположен напротив, и у подъездов, и прямо посреди тротуара. И у случайного прохожего, пробирающегося между всеми этими воодушевленными и весело смеющимися женщинами, создается впечатление, что он попал на какое-то незапланированное собрание жильцов по инициативе местного ЖЭКа.

А кто-то уже напился. Наклюкался! Да и как же иначе – неделю терпел! Терпел и вкалывал. Вкалывал и терпел. И вот они – выходные. Подарок, свалившийся с

неба. Да и магазинчик – рукою подать. Выглянешь в окошко, а он вон он – «Дубок» или «Космос». И не сказать, чтоб маленький, но и не большой, так себе, прилепившийся у соседней панельки. И ведь тоже – с погасшими витринами, хмурый, неухоженный, как будто и он извелся за всю эту неделю. Но жив, жив курилка! Зайдешь внутрь – а полки так и ломаются от бутылок. Тут вам и классические пол-литра, и литровые, и в виде фляжек, и в виде кувшинчиков; амфоры в тростниковой оплетке; бутылки умеренные, бутылки огромные, то с бурым отливом, то с зеленым, и между всем этим сверкающим чудом – чекушки, любовно прозываемые мерзавчиками. А этикетки – каких только нет, и свои, и на иностранном, и даже исчерканные иероглифами!

– Вам что, – улыбнется пухленькая и густо накрашенная продавщица, выйдя откуда-нибудь из недр своего святилища, – вино, водку, пиво или, может, коньяк?

– Коньяк, – бросаете вы сгоряча.

Опершись о прилавок своими круглыми и белыми руками в тяжелых перстнях и кольцах, продавщица любезно, хотя и несколько томно перебирает:

– Есть три звездочки, есть пять звездочек. Вам какой – «Азербайджанский», «Грузинский», «Армянский»?..

– А вино? Какое вино? – передумаете вы, немного помявшись.

– Молдавская «Фетяска», рекомендую, хороший букет, – исполненная благожелательности, но уже и с заметной скукой проговорит женщина. – Всего – одиннадцать наименований: «Вермут», «Портвейн», ну и так далее, есть и «Агдам».

– А что у вас из импортного?

– Ром, шампанское, виски. Текилу завезли только вчера. Сортов немеряно...

И она опять улыбнется, и в накрашенных глазах ее, выкаченных и темнеющих тушью, полыхнет раздражение, и среди гор бутылок, сверкающих у нее за спиной, почувствуется присутствие чего-то смутного, потустороннего.

– А водка?

– Шестнадцать наименований, – ответит она механически. – Пиво – только самое лучшее, чешское, немецкое, литовское...

– А «Жигулевское»?

– Разумеется...

Вы все еще стоите, вы все еще пялитесь на витрины, как кролик, замороженный взглядом змеи. Какой соблазн! Какое чудное, страшное разнообразие! Вы все еще ничего не выбрали, не зная, чему отдать предпочтение, глаза ваши разбегаются, вы волнуетесь, вы покрываетесь потом, вы лезете за платочком, но в вашей душе, измученной столь продолжительным воздержанием, уже поднимается праздник – с салютом, с фейерверками, многоголосым «Ура!»

Тут и святой сопьется, не поддержки его бог, и ученый, какой-нибудь член-корреспондент, и философ, и, уж конечно, поэт, время от времени покидающий какие-то там полустанки да синие дали, в которых прописан, что уж говорить о других, о малообразованных!

– Водку, – наконец произносите вы, причем произносите решительно, вынимая бумажник.

А все-таки крут, крут наш человек! Весь мир в восхищении. Натура таинственная, харизматичная. Порой настолько бывает крут в своих убеждениях, в поступках, что может показаться, будто бы и харизма его, да и весь он сам, и руки, и ноги его выкованы из стали.

А уж водка для нас – русского, татарина, казаха, тувинца – и вообще ничего, все равно, что вода для рыбы. Родная стихия! О, это вам не какие-нибудь чайные церемонии, какие разводят гейши со своими престарелыми клиентами в шелковых кимоно в Стране восходящего солнца! Первый стакан – залпом и не закусывая, второй – занюхав рукавом, причем как можно небрежнее, для виду, и лишь после третьего позволительно нагнуть буханку ржаного хлеба или же закурить. Но хлеба он только надкусит, с икоркой, с колбаской, с огурчиками, а вот закурить – это уже святое. Недаром с заигранной пластинки хриплым и прокуренным голосом сквозь годы и механическое шипение несется песенка: «Сигарета, сигарета, ты одна не изменяешь. Я люблю тебя за это. Ты сама об этом знаешь...» Видимо, поэтому, выпустив колечко дыма, глазами, полными умиления и задумчивости, в которых уже начинается процесс осоловения, он обязательно проследит, как где-нибудь под люстрой, под ее хрустальными переливами, дым этот тихо разваливается, растворяется, превращается в невесомую сизость, ноль. А уж после, когда все за столом передерутся, насажают друг другу фингалов, одного или двух приятелей под завывание сирены увезет неотложка, а кого-нибудь и воронок, когда и сама причина гулянки уже подзабыта, и глаза нашего человека сойдутся у переносья, налившись мутною оловянною размытостью, в ту самую минуту, когда торжественно, хотя и пошатываясь, подадут салат оливье, обильно заправленный майонезом, – а подадут его непременно – так уж заведено, – именно в ту самую минуту голова его, разбрызгивая майонез и разнося вдребезги подвернувшуюся по ходу дела посуду, непременно окажется лицом в салате.

Дивной, трогательной, волнующей музыкой звучат стекольные звоны и звяки бутылок одна о другую, о краешки стаканов, рюмок с золотящимися ободками; об окоемы фарфоровых пиал, расписанных древним и чудным орнаментом, из которых пьют в азиатской глубинке, сидя на полу с подвернутыми под себя ногами; о грани турьих рогов, отделанных чеканным золотом, без которых невозможно ни одно кавказское застолье, где собираются исключительно настоящие джигиты, в папахах, со страшными кинжалами у пояса; о бровки берестяных кружек – неприхотливой принадлежности народов дальнего севера; о каймы алюминиевых кружек – еще более неприхотливой утвари сурового защитника родины или зэка, встречающего рассветы в стуже дощатых барачков. В самую глубь сердца проникают журчанье и бульканье винных и водочных струй, радуя своими резкими, пьянящими и такими излюбленными запахами, так и щекочущими, так и треплющими зардевшиеся в нетерпеливом ожидании носы и носищи: и тяжелые, что нависают горным утесом, и помельче, с раздувающимися ноздрями, и курносые, и хрящеватые – в общем, самых удивительных форм и размеров, степени обоняния, степени коммуникабельности, но с возрастом, увы, все одинаково рыхлые и багровые, отекающие, распухшие, как какие-нибудь грибы, встречающиеся на лесных дорожках, расцвеченные синими и фиолетовыми прожилками...

– Ну, будем!

– Эх, чтобы не последняя!

А из некоторых окон уже разносятся, уже летят, шокируя и трезвенников, и тех, кто не успел еще приложиться, а заодно и деток в песочницах, и толстых или худых, но одинаково слепеньких старушек, жмущихся на скамейках и испуганно озирающихся в стекла своих древних очков, мат, песни, отборная ругань. «Скотина! Свинья! Ты мне всю жизнь сломал!» – срывающимся фальцетом взвизгивает на верхнем этаже какая-нибудь невидимая женщина. «Черт подери! – раздается в

ответ разъяренный рык. – Имею я право раз в неделю отдохнуть по-человечески?») – «Свинья, скотина!..» «На свои пью! На кровные, – как будто бы эхом отзываются внизу, но уже в соседней четырехэтажке, – честным трудом!..» «Ой, мороз, мороз-оз!..» – о, это уже целый хор: мужчины, женщины, дети, все те же толстые или худые старушки, и ведь непонятно, из какого окна: все – нараспашку – жара, лето; затянули – так что мороз по коже.

А там не хватило. Казалось бы, вот оно – счастье! Вот она – кондиция! Уже и шея налилась багровою краской, и сердце возрадовалось, и шум в голове, и тепло покатило по жилам, уже и язык не слушается, и степь за балконную дверь тихо и медленно приходит в движение – дыбится, заваливается, как гладь морская, – и так все это приятно. Но ведь со стула не падаем – держимся, и виском в салат тоже никто не ударил. Это-то и удручает: недобор... Это как песня, оборванная на середине. Как назло, и день поворачивает к вечеру, и солнце, разбухшее и красное, словно тоже успело принять, укладывается далеко за холмами, за степью, разбрызгивая по меркнушему небосклону последние свои лучи. И синие тучи в розовых гроздьях, в которые оно проваливается, как будто в перину, постепенно гаснут, становятся черными. Гаснут и небеса. А скоро закроются и магазины, обвешаются замками, пломбами, ищи потом барыгу, лазай по городу, по его темнякам, по путаным лабиринтам, пока не наткнешься на горящее среди ночи окошко, чтобы заплатить три, четыре цены. А ведь как здорово все начиналось! Какие чудные, какие волшебные перспективы волновали головы и сердца!

За столом все только свои – человек семь, восемь. Соседи, брат, сват, друг с работы. Крепкие мужские затылки, между которыми поблескивают и старые, заматеревшие, с единственным разметавшимся по черепу волосом, и совсем юные, с растрепанною шевелюрой, с чубами, свисающими над стаканами, – и все удрученно поникли, жилы на шеях набухли, лица мрачны, говорить не о чем. Да и о чем? Стаканы пусты. Бутылки, что бестолково толпятся на полу и посередине стола, тоже. Захмелевшие и сведенные дремой глаза и хозяина, и его гостей отрешенно уставлены себе под нос или с сонным благодушием заняты изучением какой-нибудь глупой мухи, дерзнувшей забраться в бутылку и теперь бьющейся изнутри в зеленые ее бока. А ведь совсем недавно все они были полны, эти бутылки, толпящиеся теперь как-то растерянно и бестолково. Щедро, весело лили свои кроваво-красные струи «Фруктово-ягодное» и «Вermut», проливаясь мимо ходящих ходуном стаканов на руки, на тарелки с закусками, расплываясь по скатерти темными, выпуклыми и пахучими пятнами. «Пшеничная» и «Особая» тост за тостом сводили с ума идеальной прозрачностью, до того идеальной и трогательной, что казалось, это и не водка, а и впрямь материнская слеза, горькая и обжигающая, зато уж знатно ударяющая в голову. Пиво, только открой его, так и брызгало золотистой пеной, так и просилось в разгоряченные глотки, охрипшие от курева и разговоров.

Кто-то еще механически, будто во сне, дожевывает кружок колбасы, кто-то хрустит маринованным огурчиком, роняя на блюде или на скатерть мутные и терпкие лужицы рассола. Кто-то потягивает сигарету, мирно, как будто дитя, посапывая в клубах дыма. По изжеванным окуркам, которыми грязно и неопрятно набита пепельница, ползают мухи. Гудят над обедками, над ломтиками хлеба, над соусовой мазней, застывшей в тарелках, в которых, тоже усыпанные пеплом, чернеют все те же окурки, раздавленные крепкими мужскими руками. Тараканы уже и не прячутся, а, словно какие-нибудь исследователи, храбро взбираются на огрызки

хлеба, на селедочные головы, мерцающие перламутром, умудренно покручивают своими длинными и обвислыми усами. Табачный дым, поднимающийся облаком, затягивает стол, людей, и сизые лохмы его не в силах рассеять и ветер, что время от времени врывается в балконную дверь и треплет замызганную шторку.

Грустное зрелище... Так и повеет ужасным разочарованием от всей этой неухоженности, запущенности, от всей этой картины сурового холостяцкого быта, достигшей такой вот невеселой, критической фазы.

А тут кто-то еще всхрапнул. Да как! Сидящие за столом встрепенулись, как будто со сна, вытянули шеи и принялись озираться. А тот, всхрапнувший, уже и поник, уже и свалился бедовую головою на стол; и весь его вид, жалкий и смятый, с растрепанными волосами, разметавшимися по столу, по закускам, по пепельнице, выражал одну только воплощенную скорбь, обиду, недоумение; никто, никто не потрепал его по плечу, пока он был вместе со всеми, не налил ему стопочку, не вызвал у него улыбки дружеским и простеньким тостом типа: «Ну, будем! Ну, чтобы не последняя!» И люди стали покачивать головами. Мол, это неправильно, мол, это беда; снова уронили носы – припухшие, розовые, сизые, с волосом, вьющимся из ноздрей; а где-то в конце стола еще один захрапел.

И тут в одном из гостей, молодом и вроде бы еще крепком, который все это время поклевывал носом и отстраненно, сквозь слипающиеся веки взирал на жилистые, загорелые руки свои, от которых кисло повеивало селедкой, – в парне этом проснулась жажда поэтического слова. Как будто его устами сама судьба решила внести изменения в нелепую эту ситуацию, сложившуюся в почтенной этой компании, в этой накуренной и замызганной квартире, набитой бутылками. И этот парень, вскинув из-под черного своего чуба мутный и осоловелый взгляд, и обведя им стол, и ухватившись за края его обеими руками, словно боясь, что тот может исчезнуть, отчего бутылки и посуда на нем поколебались и издали тревожные звуки, вдруг проговорил:

– Что-то ноги стали зябнуть,  
не пора ли нам дерябнуть?  
Не послать ли нам гонца  
за бутылочкой винца?

Произнес он это тихо, вяло, почти отказывающим языком, в огромном сомнении, что будет услышан. Но семя брошено. И вдруг все зашевелились, заворочались, начали вздыхать, расправлять отекавшие спины, как если бы сбросили с себя какой-нибудь ужасный груз. «Пушкин!» – восхитился кто-то крепким и прокуренным басом. «Гений! Гений!» – было подхвачено прочими. И все, кряхтя и постанывая, полезли по карманам, принялись выворачивать их, выкладывая на стол скомканные ассигнации, дребезжащие медяки.

И вот уже бросили жребий. Потом с грохотом стали отодвигать стулья. Все понимали важность момента. Жребий есть жребий, всё решила спичка с обломанной головкой. А проводить гонца – это всегда дело чести. И все до единого, пошатываясь и придерживаясь стен или повисая один на другом, набились в прихожей, чтобы выразить уважение человеку, который, можно сказать, жертвует собой для общего блага, поддержать его каким-нибудь полезным наставлением, каким-нибудь умным напутствием типа: «Вован, ты это... Ты меня уважаешь?.. И я, и я тебя уважаю».

«Пушкин, так это ты?» – узнает кто-то в гонце того самого парня, поразившего всех поэтическим даром. Парень пошатывается, крепко встряхивает чубом, и между

черными, свисающими, как будто лианы, волосами его, весело и даже озорно загораются глаза; они страшно пьяны. «Я, я!» – говорит парень. На лице его улыбка. Раскосые, мутные, потерявшие фокус глаза его кажутся необыкновенно счастливыми, и даже в какой-то мере полны удивления. «Но я... я не Пушкин, – выговаривает он, наконец, – я Жумабай... Нет, нет, – произносит он через минуту, запрокидывая свое темное скуластое лицо и мысленно как будто что-то взвешивая: – В общем, зовите меня Толик!» В прихожей его прислонили к стене, но он как-то тихо и неуверенно пополз, коленки его начали было гнуться. Но крепкие и заботливые руки, одновременно несколько пар, дружными и всеобщими усилиями вновь поставили его на ноги. «Дойдешь?» «А чё, дойду, дойду!» – кивает он размашисто головой. «Дойдет! Чё не дойти? – удивляется кто-то из провожающих. – Магазин-то вот он, сразу же за домами!» «О, это наш, наш человек! Орел! – подхватывают все разом. – Свой в доску!» Кто-то припал к двери, согнулся и упорно, пошатываясь из стороны в сторону, возится с запором.

Но Толик-Жумабай не сразу угодил в открывшийся перед ним проем. Однако, выпав на лестничную площадку, куда его как-то стремительно вынесло, он крепко вцепился в перила, окинул мутным, непонимающим взглядом толпу, что застряла в дверях, еще раз тряхнул чубом, постоял, подумал и резво, ступенька за ступенькой, летая от перил к стене, от стены к перилам, с шумом и грохотом покатил вниз.

## 2

Ну, а в нижней половине города, примыкавшей к железнодорожному вокзалу всеми своими частными лачужками и казенными домами в два, три или четыре этажа, которые к тому же густо и беспорядочно облепили и железнодорожные пути, и депо, и склады, и прочие хозяйственные объекты, красные дни суббот и воскресений для некоторой части населения как бы прекратили существование. То есть как листки календаря они еще алели на стенах, на видном и даже почетном месте, к примеру, рядом с лаковой рамкой, набитой потускневшими фотографиями более чем полувековой давности, превращенной в семейную реликвию и обвешанной полотенцами, или на кухне над обеденным столом, но как выходные уже утратили свой особенный статус.

Как и прежде, Пёскинская железнодорожная станция то кого-нибудь провожала, навьюченного с головой чемоданами и баулами, то встречала, едва какой-нибудь приезжий или транзитник осмеливались ступить на перрон, невнятным и оглушительным громом своего единственного репродуктора, – и это невзирая на кризис и повсеместную разруху, – но большая часть ее персонала, а также рабочие и служащие всего Пёскинского участка железной дороги, подпавшие под сокращение, переквалифицировались... в вагонных воришек. А у таких, как известно – ни будней, ни выходных.

И ведь ничего не поделаешь, разводят иные руками, обстоятельства.

Хотя дело опасное. Днем по вагонам не полазает. А ночи в городе темные: пустынная зона. Казалось бы, и луна выплыла, и звезды высыпали, горят, перемаргиваются, как будто всё небо в огнях да пожарах, бушующих в голубоватом сиянии, облака побелели, что дым, что пролитое молоко, а внизу – хоть глаз выколи. Вытяни руку – пальцев не различить. Какая-то особенная здесь тьма. Густая, вязкая. Кажется, можно в карманы набить. И покойная. В городе – ни огонька. Всё спит – и дома, и жители, и милиция, и магазины, и пожарное подразделение, знаменитое тем, что

однажды среди бела дня на территории его сгорела обзорная вышка, и городская больница, и больные, лежащие в палатах и коридорах, пропахших карболкой. И лишь у здания вокзала, что светится во мгле, как островок жизни, горит фонарь, чуть далее – семафор, а совсем уже далеко, за железнодорожными складами, в степи за депо, медленно ползает по путям одинокий, маленький тепловоз, выбирая из тьмы столбиком своего прожектора застывшие на путях вагоны, цистерны с горючим, метелку бурьяна, лежащую под колеса, а бывает, и пустынного шакала вдруг выскочившего из тьмы и скрючившегося от ужаса, сверкая остекленевшими своими глазами. Ползает неумоимо, как какой-нибудь муравей, из тупика в тупик, из тупика в тупик, то выбираясь из тьмы, то словно проваливаясь неведомо куда, формируя очередной состав, – шипит, пыхтит, бьется о рельсы и грустно, протяжно оглашает ночь своими сиротливыми гудками.

Ночь – только она и помощник вагонному вору. Ночь и ее чернильная тьма. Ни спички не зажечь, ни фонарика – вохровцы с вышек и вагонных площадок начинают палить из своих карабинов, как какие-нибудь сумасшедшие. Может, в небо, а может, на поражение. Таясь за вагонами, за насыпями, за чугунными колесами, за цистернами, натываясь один на другого во мраке, пробираются вслед за формирочным тепловозом и вору, призраки ночи, так сказать, прожженные преступники, не отличающиеся особенной щепетильностью. Но вот что интересно. Все они из прошлого, так сказать, бывшие. Бывшие передовики производства, бывшие победители соцсоревнований, бывшие солидные и уважаемые люди. Одним словом – гордость Пёскинского отделения железнодорожной дороги. Их фото не сходили по многу лет с доски почета, когда-то висевшей у всех на виду у главного входа в здание вокзала. Путевой обходчик, смазчик колес, сцепщик вагонов, стрелочник, два или три слесаря с депо, машинист – седоусый старец с сорокапятилетним стажем – и все в черных форменных кителях, в черных фуражках, чтобы лучше раствориться в воздухе ночи.

На каком-то участке этим бывшим, а ныне преступному элементу приходится прямо-таки бежать вслед за развивающим скорость тепловозом, тряся своими немолодыми животами и едва справляясь с одышкой; а где-то они пробираются пригнувшись, на цыпочках, один за другим, совсем рядом с маленьким полуночным монстром, приостановившим свой бег и вдруг выросшим над их головами гигантским силуэтом, попыхивающим и вздрагивающим, точно какое-нибудь животное, на фоне крупных, ярких, моргающих звезд. Замирают и злоумышленники, прислушиваясь к голосам выпрыгивающих на насыпь рабочих, к чудовищному шипенью, несущемуся из-под колес, грохоту и лязгу подцепляемых вагонов; а где-то приходится и залечь, не шелохнуться, остерегаясь луча прожектора. Опасность подстерегает на каждом шагу – в такой темнотище недолго и лодыжку подвернуть или пробить голову, чуть ли не на четвереньках переползая через пути под днищами вагонов. И только когда тепловоз закончит работу и укатит наконец в депо, выдав на прощание самый жалобный, самый тоскливый гудок свой и оставив после себя горячие запахи гари и машинного масла, приходит и их время. Уж здесь-то, когда они один на один с товарняком – вагонами или многотонными контейнерами, – им не надобны ни фонари, ни спички: они все знают на ощупь; профессионалы – с этими объектами они проработали всю жизнь. А на следующий день, глядишь – то в одном магазине, то в другом, а то и на центральном рынке или даже под самым носом у вокзальной милиции – под навесами на перроне – новое поступление:

спиртное, колбасы, куриные ножки, консервы, обувь, одежда, компьютеры, телевизоры, радиотехника, кастрюли, посуда...

Худо-бедно, так и существует маленький, провинциальный городок, прозябающий волею судьбы где-то в немыслимом отдалении от центров цивилизации, романтично и с оттенком уважения именуемых здесь, в Пёсках, «большою землей» или «материком», так и функционирует – на деньги, полученные от продажи драгоценных минералов, добытых на каменных отвалах, в верхней половине города и за счет продуктов питания и товаров первой необходимости, добытых внизу, на железной дороге, хотя и не самым честным и благородным образом.

Но вот суббота миновала. Близится к завершению и воскресный день. Многие из жителей Пёсков провели его в центре города, на площади Ленина. Загородные прогулки здесь не в чести. Степь да пустыня, – они и без того всегда на виду, стоит взобраться на крышу, а иногда бледные и застывшие волны барханов или голая равнина в выгоревших, увядающих колючках видны и из окон. Все зависит от того, в какой части города находится ваш дом. И радости, надо признать, круговая эта панорама не прибавляет. А вот в центре, по меркам провинциального городка, немало интересного. Специально разбитого парка или захудалого скверика в городе нет. Зато через речку, поросшую камышом и тугайными зарослями, перекинут старинный горбатый мост, сложенный из камня. Жители Пёсков убеждены, будто возвели его по проекту какого-то итальянца, придворного архитектора, высланного сюда из Санкт-Петербурга еще в допушкинские времена; не то он кого-то убил на дуэли, не то ослушался самого государя-императора, и, мол, по этому мосту спустя годы прогуливался и сам Пушкин, когда путешествовал в этих краях, собирая материал по восстанию Пугачева. Хотя это и сомнительно. Судя по тем источникам, с которыми каждый из нас знаком по школьной программе, ни казачьих, ни крестьянских волнений здесь не происходило. И тем не менее местные обожают взойти на этот мост, коснуться, так сказать, его старины, полюбоваться на воду, – она хоть и глинистая, мутная, но порой оказывается настолько прозрачной, что видно рыб, плавающих у дна среди темных, вьющихся водорослей. Однако это не единственная достопримечательность маленького городка, пропеченного насквозь азиатским солнцем. С удовольствием покажут вам и заброшенную церковь, расположенную тут же, по ту сторону моста, с выбитыми окнами, с единственным уцелевшим узорным крестом на одной из четырех маковок. Причем крест этот основательно согнут и покорежен, и вам обязательно поведают, как некогда, в далекие двадцатые или тридцатые, советские активисты в красных косоворотках, сбросившие прочие кресты, как ни злобствовали, этот не смогли выворотить. И, мол, недавно, года три назад, в церкви появился поп, старый, дюжий, с седой бородищей, который время от времени заходит в речку прямо в сутане и крестит желающих. Покажут и поповский домик при церкви, и яблоневый сад, который с появлением попа неожиданно ожил, зазеленел, заблагоухал, обвис тяжелыми и румяными яблоками. Для Пёсков с чахлыми садами и огородиками, в общем-то едва плодоносящими, факт этот просто поразительный. Специально для вас разыщут недалеко от исторического моста и остатки казацкой крепости – глиняные бугры и шишки, пылящиеся в бурьяне, и покажется невероятным, что когда-то на этом месте возвышалось мощное фортификационное сооружение, со стен которого падали пушки. Потащат на станцию, которой более двух веков, позволят пощупать

ее кладку; кинутся показывать почерневшие и обуглившиеся от ржавчины рельсы, заросшие колючкой, по которым лет триста тому назад, окутывая все вокруг клубами черного дыма, впервые проследовал поезд, блистая чередой новеньких почтовых и пассажирских вагонов, в погоню за которым, а главное, за паровозом, пустились аборигены, жители пустыни, никогда не видевшие ничего подобного. «Шайтан-арба! Шайтан-арба!» – кричали сотни разверстых глоток. Они летели вскачь, вихрем, то и дело теряясь в завесах косматого дыма, на злых, высокомерных верблюдах своих, на конях, на осликах, исступленно и с визгом размахивая саблями, плетью, дубинками, то храбро наскакивая на огнедышащего исполина, без сомнения, выползшего из преисподней, то с ужасом шарахаясь от этого чудовища, пускаясь наутек и оглашая степь ужасными, бедственными воплями: «Шайтан-арба! Шайтан-арба!..» – когда с раскаленной докрасна трубою, с закопченными боками, шипя, и пыхтя, и издавая такой грохот, от которого сотрясалась земля, чудовище это вдруг приостанавливало бег свой и принималось угрожающе изрыгать клубы огня и дыма.

Легенды легендами, но воскресный день жители Пёсков стараются посвятить исключительно отдыху. Причем семейному. Вопросов, куда пойти и чем разнообразить досуг, в Пёсках с некоторых пор не существует. Кино в городе не увидишь: единственный кинотеатр под гордым и героическим названием «Варяг» и три или четыре профильных клуба давно уже заколочены, театра здесь не было и в помине, и единственной точкой притяжения для горожан остается площадь Ленина, раскинувшая свои старые, избитые асфальтовые островки у здания горисполкома, мощного, приземистого, как будто бы цитадель, с рядами окон в три этажа, с дубовой дверью, ступенями из полированного гранита, где рядом, метрах в пятнадцати или двадцати, с каменного пьедестала, окруженного колечком земли, теперь пыльной и выгоревшей, но некогда засаженной крупными, отборными розами, алыми, как огонь, как кровь, пролитая в борьбе за идеалы революции, взметнулся в небо памятник вождю мирового пролетариата, вскинувшего руку и настырно, с негибамостью маньяка, не одно десятилетие указывающего куда-то в степь, за речку, за холмы, наверное, в мир счастливых иллюзий, порожденных его беспокойным гением, за которые было заплачено миллионами жизней.

Время перевалило за полдень. Площадь перед зданием горисполкома, обычно пустынная и не убранная, в наносах песка, листьев и мелкого мусора, с утра полна уже народу, гомону, смеху, а люди все идут и идут – парами, в одиночку, большими и говорливыми семьями, с детишками на руках, с детишками в колясках, волоча их следом, выставив их впереди, в качестве авангарда, и все прилизаны, принаряжены. Жены и главы семейств – непременно под ручку, с приподнятою головою, с приветливыми улыбками. Мужчины – в капроновых шляпах, а то и в фетровых, аккуратно подстрижены; женщины, ловя на себе неравнодушные взгляды, игриво и кокетливо покручивают раскрытыми солнечными зонтиками. Тут же ковыляет какой-нибудь ветхий, согнутый старик в пыльном и великоватом ему пиджачишке, побрякивая заслуженными медалями, или старушка, опирающаяся на посох и пошаркивающая калошами. И все они явились единственно для того, чтобы потолкаться в толпе, поприветствовать знакомых, сойтись с приятелями, поболтать, поделиться новостями, покатиться с хохоту над каким-нибудь замурзанным анекдотом, дожидаться, когда воинским строем и с песнями протопают, пыля подкованными сапожищами, пожарники, что ни воскресенья отправляющиеся на помывку в городскую баню,

и, наконец, расположиться на отдых где-нибудь за площадью, в тени не высоких, но дико разросшихся зарослей ивняка, джиды, камыша, окаймляющих Карасу.

А некоторые, кстати сказать, к этому уже и перешли, и в прибрежных тугаях, образующих густые природные навесы из путаницы ветвей и листьев, на скудной траве, которая пучками выглядывает из серой, потрескавшейся земли, то там, то здесь расстилаются уже домашние коврики, покрывала, дорожки, одеяльца. Подразнивая запахами сыра и колбасы, появляются на них бутерброды, термосы, украшенные изображениями лотосов и танцующих журавлей, бутылки, испускающие свое тонкое и магическое сияние, одни с лимонадом, другие с пивом, а у кого и с напитками посущественней. Тарелки, стаканы, вилки, ложки перебраиваются и постукивают, совсем как на кухне. Вокруг импровизированных скатерок, укрывшись в тени, подальше от палящего солнца, располагаются отдыхающие, кто сидя, кто лежа, но непременно под таким углом, чтобы не терялись из виду ни бронзовый памятник, ни здание горисполкома, ни площадь, которые настолько уютно и гармонично соединились в одном архитектурном ансамбле, настолько ассоциировались в человеческом сознании с праздниками, которые здесь проводились в недавнем прошлом, что, казалось, еще мгновение, и время повернет вспять, послышится многоголосое «Урра-а-а!», шляпы, как будто сорванные ветром, полетят в воздух, там же окажутся и платки, и солнечные зонтики, и народ, собравшийся у ступеней горисполкома, поспешно расступится, образуя живой и ликующий коридор, и не только, чтоб пропустить колонну пожарных, которых давно уже заждались, а чтобы стать очевидцами еще более грандиозных мероприятий, как это было совсем недавно, когда площадь и прилегающие к ней улицы вдруг вспыхивали, как будто бы занимаясь пожаром, бесчисленными развевающимися флагами, знаменами, транспарантами, загораясь тысячами и тысячами счастливых лиц, охапками роз, гвоздик, сирени, разноцветными шарами, возносящимися в пронзительную синь неба, взорвавшись музыкой и грохотом какого-нибудь удивительного представления, к примеру, демонстрацией трудящихся, или приемом в пионеры, или концертом художественной самодеятельности, какими в свое время с удовольствием потчевалось население Пёсков.

Памятник Ленину давно уже не мыт, загажен птицами. Окна горисполкома крест на крест заклеены полосками бумаги, за тяжелыми столами, обитыми сукном, с некоторых пор не обнаружить ни одного ответственного лица. А ведь когда-то здесь все кипело. Стучали на машинках принаряженные и завитые секретарши, звонили телефоны, носились посылные, в коридорах теснились посетители, с этажа на этаж тоннами перемещались бумаги: резолюции, указы, уведомления. Заседания сменялись заседаниями. У подъезда, у самых ступеней, пофыркивали персональные «Волги» последнего выпуска в ожидании своих величественных седоков: и молодых, счастливых, сверкающих белозубыми улыбками и продвигающихся по служебной лестнице легко и непринужденно, и седовласых, мудрых, с древними и обрюзгшими лицами, оказывающих необходимую для этого протекцию. Вся жизнь этих замечательных людей, этих борцов за счастье трудового народа, все помыслы, все рвение их более полувека были озарены неповторимым бронзовым блеском, выпускаемым вышеуказанным памятником. Что ни утро, их обожаемое божество, родной их демиург, заглядывал, бывало, с теплым родительским участием в каждое окошко в здании горисполкома, в каждый кабинет, за каждую занавеску, в каждую щелочку, вечно живой, вечно мобилизующий, вечно указующий и вдруг

неожиданно и совершенно потерянно застывший и обратившийся в камень, заляпанный птичьим пометом. Разочарованные, раздосадованные, бледнее мела, верные ленинцы какое-то время еще пытались сориентироваться, куда же теперь указывает вскинутая в ораторском жесте рука их бронзового создателя, но так и не придя к консенсусу, то есть к единогласию, трясущиеся от горя, словно птицы, спугнутые выстрелами, они навеки покинули кабинеты свои, оставили кресла, с которыми, казалось, сроднились, с которых руководили, отдавали распоряжения. Да и каким надо было бы обладать сердцем, чтобы по-прежнему, как ни в чем не бывало радоваться жизни, солнцу, журчащему ручейку, пению птиц на заре, когда с утренним кофе тебе никогда уже не подадут циркуляра, завизированного подписью, от одного только вида которого бросает в дрожь и трепет, а к горлу подкатывает ком умиления; когда никто и ничем уже не польстит, не согнется в поклоне, а сверху не удивят командировкой в «загранку», не пригласят в кассу для получения ежемесячного денежного довольствия, которого хватило бы на кругосветный круиз на комфортабельном теплоходе. Когда давно уже ни звука о поощрениях, о наградах, о премиальных, пусть даже символических. А кое-кто и на колени бы упал, с воплями, с плачем, чтобы хотя бы мзда оставалась. Ведь заносило же ее, мзду эту – не то сквозняками, не то уж какими-нибудь иными субстанциями, которым свойственно было принимать человеческое обличие и которые настолько бывали деликатны, что передвигались исключительно бесшумно и всякую минуту пытались исчезнуть, оставив по себе лишь легкую и приятную память в виде скромного и ненадписанного конвертика с загадочным содержанием.

Но напрасно, напрасно они так себя терзали. Не жалели ни слез, ни нервов, ни обливающихся кровью сердец. Отреклись, наконец, от партии, которой посвятили жизнь, которую возлюбили более, нежели детей и жен своих. Забыли знамена, под которыми присягали. Побросали партбилеты. Всё, всё оказалось дымом, иллюзией: слава, власть, деньги, почести. Откуда им было знать, бедным и поломанным жизнью, что это еще не конец, что все это согласно непреложным законам, по которым существует человеческая цивилизация, когда-нибудь да вернется. Ибо всё возвращается на круги своя, как говаривали древние. Наступит час, и обкомы, и исполкомы и прочие руководящие инстанции преобразуются в мэрии, в думы, в мажилисы, парламенты; компартия распадется на партии демократов, правых, левых, в народные фронты, над которыми взамен прежних, красных, взвоятся новые знамена: трехцветные, двухцветные, голубые, зеленые; новые гербы украсят кабинеты начальства, а дубовые статичные кресла в них будут заменены другими, легкими, деловыми, вращающимися; воротится заработная плата, возросшая как никогда прежде, да такая, что не будет помещаться в карманы, и чтобы вид этих карманов не раздражал народ, в хождение будут введены банковские карточки. Вернутся медали, ордена. Но уже нового типа, еще более яркие, искусные, поражающие воображение. «Волги» спишут как хлам. Придут другие, импортные, «лексусы», «хонды», «мерседесы», компьютеризированные, навороченные, сверкающие не хуже зеркал и стоимостью – как самолеты, и под огни и вой мигалок будут возить и оставлять новое поколение чиновничьей братии у высоких, величественных колонн и ступеней новых министерств, новых департаментов. И мзда, о которой когда-то было стыдно упоминать, подбрасываемая в конвертиках, станет другой, и ей уже зазорно будет пользоваться щелями под дверь. Коррупция разрастется. Разрастется неслыханно, многомиллионные плоды ее открыто и втайне будут за-

носиться уже чемоданами, мешками, коробками из-под кухонных сервизов, и станет она братом чиновнику, его тенью, его вторым «я», а может, и первым.

В здании пусто, безрадостно. Ни дорожек, поглощающих звуки, ни люстр под потолками, которые бы горели и переливались между раззолоченной лепниной водпадами драгоценного хрусталя. Ни красных полотнищ, извещающих посетителя, робко и впервые вступающего в фойе, откуда-нибудь сверху, из-под мраморных антресолей, что партия – ум, честь и совесть современной эпохи, ни бюстов, ни профилей великого Ленина, ни громоздких картин, с которых вождь взирал бы ласково и с отеческим прищуром. Ни народу, снующего между кабинетами да по лестницам. Ни бархатных тяжелых портьер, загораживающих от солнца. Пыль да эхо. Пыль, что невесомо танцует в душном, сверкающем воздухе, да эхо, дремлющее по углам в тоске по какому-нибудь темному и неисправимому остолопу, который бы разинул рот и решился поиграть с ним в прятки. Однако у входа по-прежнему милиция. Медные набалдашники на толстых и длинных ручках дверей и невидимые пружины, из-за которых дубовые двери и прежде-то открывались с немалым трудом и ужасающим скрипом, и по сей день лишний раз подчеркивают их некогда высокий государственный статус. Над крышей, на кончике флагштока, невзирая на слишком уж затянувшиеся перемены, все еще полощется огромный стяг, некогда кумачовый, с серпом, с молотом, а ныне выгоревший и выцветший до такой степени, что иногда кажется бурым, а иногда голубым и удивительнейшим образом сливающийся с небосклоном.

И куда они все подевались: и робкие служащие нижнего ранга, и крикливые, с выпученными глазами начальники отделов и подотделов, и так называемые отцы города, важные и неприступные, со свисающими на грудь подбородками, с жирными и седыми затылками? Когда и в каком направлении унесли их, покачиваясь на колдобинах, тяжелые и неуклюжие «Волги» вместе с их секретаршами в перманентных кудряшках, с пишущими машинками, бланками циркуляров, чернильницами-непроливайками, настольными бюстиками незабвенного и дорогого их сердцу богочеловека, томами его ученых книг в крепких кожаных переплетах, от которых вкупе с томами Маркса и Энгельса ломились полки их кабинетов, с его портретами, с его картинами – никому не известно.

А какие то были картины, какого нравственного содержания – огромные, в раззолоченных рамах! Ильич в потрепанной кепочке, скрывающийся у лесного шалашика и склонившийся над пухлой тетрадкой. Ильич, взобравшийся на башенку броневика, и десятки прожекторов над взволнованным человеческим морем озирают его дымными белесыми лучами. Ильич, прилепившийся плечиком к бревну вслед за рабочими, явившимися на субботник по очистке Кремля.

А куда подевались портреты многоуважаемых генсеков и членов ЦК и, наконец, самого товарища Сталина? Ведь были же и они. Были. Их все видели. Кажется, еще вчера, водруженные на шести, они так живо и ликующе проплывали над головами трудящихся в многотысячных толпах и в годовщину Великого Октября, и в майские праздники, когда, казалось, весь мир был расцвечен в рубин и багрянец, когда дождем летали цветы и мягко, с шелестом упали под ноги, под начищенные до блеска ботинки, сапоги, под легкие туфельки на изысканной шпильке, на шляпы, на фуражки, цеплялись за пышные прически женщин, за шиньоны. Когда яркими и невесомыми гроздьями кружили и уносились ввысь, пропадая из глаз, воздушные шары, упущенные пухлыми и неуклюжими ручонками затерявшихся

и ревущих где-нибудь в толчее ребятишек. «Верной дорогой идете, товарищи!» – громыхали в те особенные, незабываемые дни металлические мембраны акустических колонок и ретрансляторов, сотрясая и небо, и землю. «Урра-а-а! Урра-а-а!» – разносилось над площадью. «Слава коммунистической партии, гегемону... и лично нашему многоуважаемому...» – «Урра-а-а!» – «Даешь пятилетку за четыре года!» – «Урра-а-а!»...

И как же все это приводило в волнение, как же все это радовало – и сердце, и глаз, как все это воодушевляло: рабочих – на новые трудовые подвиги, военных – на подвиги военные, поэтов – на новые поэтические вершины!

А ведь, надо признать, хорошо они послужили, эти незабвенные лики, эти исчезнувшие творения рук человеческих. Кто хоть однажды их видел колышущимися над радостными, ликующими толпами демонстрантов, тому уже не забыть их свежее и наделенные благообразием черты, в одинаковой мере присущие и мужам в самом цвету, и хорошо выбритым и напомаженным старцам, их особенный взгляд, мягкий и одновременно орлиный, особенный поворот головы, в которых и вправду светились и ум, и честь, и высокая культура, угадывались обетованное будущее, розовые рассветы, которые, надо сказать, уже поднималась у наших порогов, уже стучали и приводили в волнение наши сердца, сызмалу зараженные романтикой Великого Октября. С любовью, с материнской заботливостью ограждали они наши непререкаемые убеждения, в которых мы были воспитаны, от тлетворного влияния Запада, олицетворяли величие нашей страны, ее мощь, ее духовность, основанную на бессмертном учении марксизма-ленинизма. И не они ли, эти великолепные творения, как будто и вправду ниспосланные свыше, парад за парадом, демонстрация за демонстрацией сплавляли многонациональные наши республики в единый и нерушимый союз перед лицом коварной и неистощимой вражеской идеологии, щупальца которой проникали повсюду, где только можно?

Теперь, когда уже не существует той великой страны, когда уже более двух десятилетий мы, отравленные воздухом торгашества и мелкособственнических интересов, живем совершенно иными законами, где человек человеку не брат и не ровня, трудно поверить, что мы, всей нашей огромной страной, в едином духовном порыве едва не молились на светлые эти лики. Плечо к плечу, поколение за поколением, шеренга за шеренгой, вереница за вереницей, осененные этими поистине чудотворными святынями, как будто распятиями на крестном ходе, мы следовали за ними в поисках обетованного рая на земле, точно какие-нибудь слепцы, вцепившиеся в мудрого и единственно зрячего поводыря. «Да полноте, – скажут иные. – Не сказки ли это?» И верно, не успел петух три раза прокукарекать, извещая о наступлении новой и кардинально не той зари, которая ожидалась, как мы обо всем позабыли. Но что может быть печальнее неблагодарности к отечеству, к предкам, которые вынесли на плечах своих то, что не испытала ни одна страна в мире? Что может быть позорнее, чем переиначенное прошлое! Чем перелицованные штаны и пиджаки, говорящие об одной лишь безысходности и нищете, чем переименованные по несколько раз улицы, снесенные памятники, подложные исторические документы, обворованные и зачумленные музеи, храмы, превращенные в руины?

Все же и по сей день перед внутренним взором какого-нибудь бывшего партийца, или сочувствующего, или даже отдельного человека на волне сумбурных переживаний ностальгического характера, нет-нет, да и поплывут, покажутся мерцающим контуром то темные, седеющие усы под орлиным профилем, то родимое

пятно причудливой формы на лысеющем лбу, то знакомая до боли плешь, ботинок, стучащий по трибуне ООН, и дыхание вдруг прервется, лицо просветлеет, как если бы человек этот увидел что-нибудь божественное, на глаза выкатят слезы, вызванные теплыми и проникновенными чувствами, например, осиротелости, или, может, – одиночества, и старая, дряблая рука с обвисшею кожей (совсем не такая, как в молодости, совсем не такая) так и задрожит, так и потянется, омоченная слезами, к носовому платочку.

Были... Были и орденские планки на маршальском кителе, униженные рядами горящих и пылающих звезд, к которым один из генсеков питал болезненное пристрастие. И помахивание шляпой с каменных трибун, и выходы в народ с высказываниями типа: «Процесс пошел», и пляски в подпитии, и танки, палящие в Белый дом, и измена в Беловежской пуще. «Жить стало лучше, жить стало веселее!» – провозглашал один, и это в ту самую пору, когда страна захлебывалась в крови репрессий. «Обгоним и перегоним Америку!» – стучал кулаками другой. «Экономика должна быть экономной!» – вторил третий. Были и кукуруза – царица полей, и сухой закон, и вырубленные виноградники, и Гулаг, и голодоморы. Однако ведь строились и города, поднимались заводы, прокладывались железные дороги, осваивались целинные земли. Была великая, неоценимая победа над фашистской Германией, «оттепель», когда люди, наконец, свободно вздохнули и поверили, что коммунизм возможен и вехи его, радужные и радующие сердца, вехи того самого светлого будущего, о котором не уставало мечтать не одно предыдущее поколение, уже проглядывали сквозь время и тяжелую поступь трудовых пятилеток. И ощущение близкого счастья уже не давало покоя.

Ох-ох, всего и не упомянуть!

А какие красочные салюты озаряли небо над древними стенами Кремля, какие страшные, пугающие артиллерийские залпы сотрясали главную брусчатку страны, приводя в состояние гордости, и умиления, и даже безумия едва ли не каждого из собравшихся на ней тысяч и тысяч зрителей, едва ли не каждого приникшего в эти минуты к телевизионным экранам и в дни Великого Октября, и в майские, и в приуроченные к какому-нибудь историческому событию, например, к полету Гагарина в космос! И ведь все это был не сон, все это было в действительности, как были и лики, взмывающие на шестах, и чиновники, служившие не за страх, а за совесть, и солдаты, умирающие на полях сражений. И разве не заслужил этого народ, этих торжеств, этих чествований, народ – победитель, народ – созидатель, народ, прошедший через ужасы лагерей и расстрелов, прошедший через пекло Гражданской и двух мировых войн, расплачиваясь за неизбывный и повторяющийся из века в век грех бунтарства и царубийств!

К чести пёскинцев, следует заметить, что праздничные эти салюты производились не только в Москве, под бой древних курантов, не только в городах-героях, подхватывавших эстафету всеобщего ликования вслед за первопрестольной, но и в Пёсках, все на той же площади Ленина, когда асфальт этой площади был еще более-менее пригоден и когда у одноименного памятника и перед зданием горисполкома еще курсировали набитые людьми автобусы: ПАЗики, ЛиАЗы, бегали и сигналили легковушки, а огромные поливальные машины с раздувшимися боками и походившие на океанских китов, разбрызгивали фонтаны воды, которые, взмывая в небо и сверкая бриллиантами, с тяжким шуршанием обрушивались на деревья, в клумбы, в яркую и ухоженную зелень газонов.

Так что и Пёски в такие дни празднеств не оставались в стороне, и в Пёсках под устрашающий дым и грохот резали воздух чернильно-темных ночей огненные струи петард и фейерверков, запущенных отдельными любителями экстрима, на радость жителям, выскакивающим на улицы и в восторге задирающим носы, выхватывали из темноты покосившиеся заборы, крыши, стены домов, самые отдаленные уголки чернеющей за холмами пустыни, потом живо взмывали к всполошенно моргающим звездам, на миг-другой расцветивали все небо, и медленно, красочно опадали – синие, зеленые, красные, желтые, сияя и вспыхивая в радужных, золотистых нимбах огней, то где-нибудь совсем рядом, напоследок оглушительно взрываясь сочной и яркой разлетающейся шрапнелью, то где-нибудь в стороне, едва освещая какой-нибудь смутный чердак или деревце и тихо, без единого звука, медленно угасая цветистым дымным облаком.

А все-таки человек – удивительное существо. Ни одного жителя Пёсков не тронуло таинственное исчезновение ни городского руководства, ни чиновничьего аппарата, ни всех этих портретов, насаженных на шести, вдохновляясь видом которых они бок о бок более полувека с кем-то боролись, куда-то шли, к чему-то стремились, отдавали жизни, ни загаженный памятник, ни опустевшие залы горисполкома, в которых поселилось эхо. Ничто и никого не смутило, не позволило на баррикады. Недаром история показывает, что человеку, если только он не спятил, вообще безразлично, есть ли над ним какая-нибудь власть, нет ли, и какая из них в очередной раз попытается раскинуть над ним крылья свои священные, и будет ли она называться капитализмом, демократией, социализмом – ему-то что! Какое ему дело до всех этих игр тщеславной человеческой прослойки, рвущейся к власти и именующей себя политической элитой? Какое ему дело до бандитов, милиции, налоговых инспекций! Все, что его беспокоит, – это его дом, семья, стол, за который было бы не стыдно перед гостями, да была бы работа, и чтобы та самая элита, которая всегда наверху, как пенка на молоке, в очередной раз не наделала бы глупостей. Что же касается разрухи и беспорядка в стране, то у себя в доме он и сам приберется, да и под окнами не потерпит ни грязи, ни мусора. А все остальное уж дело не его, а власти, тех самых чиновников из высоких кабинетов и коридоров. Получают налоги – вот пусть и разбираются и с дорогами, и с дураками.

Не грохочет во все щеки духовой оркестр по-над речкой, в глухих тугаях? Так ведь и Пёски – не столица, врубим магнитофон. Сели батарейки? А вон и дядька Никифор, друг и сосед, – кому-нибудь свекор, кому-нибудь дед, – блистая железными вставными зубами, с опухшим, но весело реющим носом, узлы и фиолетовые прожилки которого за версту выдают его предпочтения, уже на подходе; лихо растягивает он мехи потрепанной гармошки. С песнями, с прибаутками, приплясывает на виду у отдыхающих, между их ковриками, брошенными на голую землю, в пыль, в песок, на жухлую и колючую степную растительность. И всякому-то он свой, всякому желанен. Тут поднесут ему беленькой, там – красненькой, где-то еще вознаградят баночкой пива, тут шашлыком, и прямо с огня, сочным, ароматным, ломтики мяса которого еще дымятся, еще вскипают и капают прозрачным, золотистым жиром.

А где-то побренькивает гитара. Бой ее струн доносится из тенистого ивняка, летит, взбрыкивает, перемежается с серебряными переборами, и мальчишеский голос с претензией на мужественность, время от времени срывающийся по-петушиному, затягивает о любви, о туманах, о кораблях, где-нибудь за краем земли поднимающих паруса. Песню подхватывают девчонки, мальчишки. Иногда из-под путаницы ветвей

и листьев, непроницаемых даже для солнца, чем, собственно, и славятся приречные заросли, слышатся смех, споры. А где-то неподалеку, в более взрослой компании, отыскивались уже и батарейки, и чей-нибудь мощный контрабандный «Шарп» или же свой в доску «Днепр» с старинными бобинами разливаются красивым и могучим рокотом великого Магомаева, Магомаева сменяет Зыкина, Зыкину – Робертино Лоретти, маленького итальянца – звезда шестидесятых Бюль-Бюль Оглы. Седой и усталый паромщик трудится на какой-то реке, спасая влюбленных, в исполнении Пугачевой, и с такой щемящей трогательностью, что кто-то из слабой половины пускает слезу. Неувядаемые «Битлз» и «Смоки», великолепный Элвис Пресли, стилиаги из «Браво» во главе с неутомимым Хафтаном живо и с задором поднимают на ноги юные пары, да и не только их, но и старшее поколение, солидных и отяжелевших дядюшек с седеющими бакенбардами, тетюшек с неимоверно разъехавшимися и трясущимися формами, которые, раздвинув танцующую молодежь, принимаются по старинной памяти выписывать такие совершенно безумные кренделя твистов и рок-н-роллов, что молодым остается только одно: не путаться под ногами. Но вот у одеялец и ковриков с разложенной снедью и с возлежащими, как будто на пиру, отдыхающими, можно сказать, у самого их носа, на изрытой ногами поляне, на какое-то время превратившейся в танцплощадку, набирает силу грудной, томный и несокрушимый голос Мирей Матье: «В Париже танго, В Париже танго!..» И тут уж, конечно, и молодежь, и хлебнувшие немало ветераны сливаются в нежных, любовных объятиях, и как будто замороженные, движутся в медленной и мелодичной танцующей карусели, а пыль и песочный блеск, вездесущие спутники жары и степей, тем временем аккуратно, в виде чулок оседают им на голые икры – под юбки, под закатанные штанины.

Но и Карасу, которая несет свои тихие, мутные воды совсем рядом, по ту сторону зарослей, уж никак не пустует. В такую жару и чтобы не искупаться! И каменный мост, и оба пологих берега, узкие и глинистые, с вьющимися и низко нависающими ветками ивняка и терновника, с островками золотистого камыша, гнущегося на ветру, просто полны любителями поплавать и позагорать. Здесь можно увидеть и детвору, неугомонную, плескающуюся с таким самозабвением, что брызги от маленьких рук и ног взлетают выше моста и окатывают приглядывающих за ними пап и мам, а от гомона и криков закладывает уши. Можно полюбоваться прекрасными женщинами, томящимися на берегу то в положении сидя, то в положении лежа и бережно обклеивающих случайною бумажкой или листиком свои чудные носики, чтобы те не подгорели на солнце. Стоит полюбоваться и на мужчин, которые выпятив живот, в одних трусах, отважно пускаются в воду, разгоняя ее коленками и, зайдя на достаточную глубину, с головой приседают, выныривают, шумно и весело отфыркиваются. Их лица, по которым стекает вода, в такие минуты светятся счастьем, а сами они чем-то неуловимо – не то удовольствием, написанном на лицах, не то загорелыми и обтекаемыми формами, с которых льет ручьями вода, – напоминают тюленей. Жара и солнце, блеск выбрасывающейся на берег волн, как будто бы поднятой ураганом, гонят загорающих в воду, и мужчин, и женщин, и детей. И вот уже речушка набита купающимися, как консервная банка солеными огурцами. Женщины пробуют плавать, тонут, визжат, барахтаются. Мужчины, чтобы еще больше их напугать, то пропадают в воде, то вдруг выпрыгивают, и впрямь как какие-нибудь морские животные, сверкая своими влажными, огромными телами и, изогнувшись, снова ныряют, а на поверхность показываются уже вверх парюю

ягодиц, жирных, толстых, облепленных трусами, сверкающими на солнце, и всем смешно, страшно. Звонкое и неиссякаемое веселье охватывает всю речку, которая так и бурлит, так и мелькает черными, загорелыми телами. Этот цвет кожи, у одних с утра еще бледный, у других более-менее смуглый, к вечеру под длительным воздействием воды и солнца приобретает такие оттенки, какие можно встретить только у аборигенов пустынь. И если бы в эту минуту случилось выбраться из зарослей, что тянутся по-над берегом, какому-нибудь папуасу из Новой Гвинеи отправившемуся у себя на родине, например, на охоту, и как водится, голому и прикрытому лишь связкой пальмовых листьев, с луком и стрелами, и вдруг неведомо как занесенному сюда, в это степное азиатское приграничье где-то между Россией и Казахстаном, то, набрев на эту людскую черно-коричневую массу, сверкающую одними только зубами, он никак бы и не подумал, что он за границей. Что это вовсе и не Полинезия, не Австралия, не родные его острова, а все эти люди, к которым он вышел, – никак не члены его племени. А когда бы все обнаружилось, вот уж была бы потеха! Вот уж бы все посмеялись!

И только местным лягушкам не до веселья. С раннего утра попрыскали они свою родную осоку, уверенные, что пришел конец света. Забившиеся в самую глубину, в тину, зеленые, пучеглазые, покрытые ужасными бородавками, от волнения они необыкновенно раздулись, совсем как шары, бедные, маленькие животные, дрожат, трясутся, переступают с лапки на лапку и еще больше пучат глаза, и еще больше раздуваются – не то для важности, не то от страха, и не осмелятся и рта раскрыть, чтобы произнести: «Ква-ква» или пустить пузырь. А ведь что может быть прекраснее, чем пускать пузыри, следить, как они тут же лопаются или же, стройно и стеклянно поблескивая, устремляются ввысь, на поверхность! А как здорово, как приятно – весело и оглушительно квакать огромным и слаженным хором, встречая рассветы, озаренные первым и еще робким сияньем или же поздними вечерами, в гаснущем пожаре закатов! С тревогой, со страхом взирают они на гроздья икринок, развешанных по водорослям, на милых, прозрачных своих головастиков, беззаботно резвящихся в общей стайке. Взирают одна на другую. Нет недаром, недаром ворона, отирающаяся при церкви, накаркала накануне, что конец света неминуем. Черная эта вещунья сидела на ветке прямо у них над омутцем и все что-то хрипела про ужасы Армагеддона, про вышний суд, призывала покаяться. «Ох уж эти церковные, и всё-то они знают!» – сказала лягушка, самая древняя, потемневшая от ила. «Да-да, вот он и пришел, – поддержала другая, совсем еще юная, нежно-зеленая, бородавки которой были еще настолько малы, что отливали голубоватую слизью, – пришел, когда его и не ждали. Да-да, ворона так и говорила: нежданно-негаданно...» А третья, чей возраст так и остался неопределенным, вдруг высунулась из-под бурого полуистлевшего листа, покрытого илом, под которым укрылась, выпучила глаза и возмущенно проквакала: «Старая прохиндейка! Я вам благою весть принесла. Я вам благою весть принесла. Как же, дожدهшься!.. Ква-ква!.. Вон, пониже, за ближней излучиной парочка куликов гнездо свила, – так она у них яйца тырит...»

А где-нибудь далеко-далеко, вверх или вниз по течению, куда не долетает ни единого звука, в густых камышах, поднимающихся сплошным лесом, скрывается странная личность, человек не человек, приведение не приведение, в соломенной шляпе, в резиновых огромных сапогах, и день, и ночь дремлющая над заброшенной удочкой. Существо это давно взялось мхом, пропахло речными запахами, кожа его местами позеленела, осклизла. Это рыбак, и представление о счастье у него похожее

на лягушачье: глушь, тишь, уединение. От храпа его подрагивают листья. И все-то ему нипочем: и сырость, и мошкара, лазающая у него в веках, и синие от напившейся крови комары, настолько раздувшиеся, что не в состоянии уже и крыльями двинуть. Шляпа его, сползшая с головы, ночует на илистом бережку, в хлопающей под ногами жижице, и из состояния дремы его может вывести лишь какой-нибудь глупый, загулявший щуренок, плотва или пусть даже хиленький пескарь, отчаянно извивающиеся на крючке и сыплющие серебром. В общем, рыбак он и есть рыбак. Когда он выходит из зарослей с вердерком и удочками, весь синий, в комарах, в иле, обляпанный чешуей, и появляется на городских улицах, то дети, наглядевшие мультфильмов, часто путают его с водяным, а бывает, и с лешим.

А что же милиция? Почему не уехали они, не оставили свои отделения, опорные пункты, пост у дверей горисполкома? Почему продолжают работать больницы, а пожарные не покинули города? Создается впечатление, будто бы в отличие от бывших отцов и благодетелей, от партийного аппарата, все эти службы по-прежнему получают заработную плату, премиальные, а кто-то – может, и мзду. Однако это не так. Как говорится, хотите – верьте, хотите – нет. Но дело вот в чем. Милицейская служба так уж устроена, что через каждые три года погоны их обновляются чистой, новой, еще девственно поблескивающей звездой. Она может быть и маленькой, как если бы сошла с неба, а может быть и большой, полковничьей. И какой же милиционер, по здравому, так сказать, рассуждению, покинет свой пост, если заступив на него в чине сержанта, спустя всего-то десяток лет он может смениться уже капитаном, а ведь там и до генерала... – страшно подумать! Врачи не оставили больниц, ибо свыклись со своими больными. Лечить их нечем: в аптечках давно уже ни лекарств, ни перевязочных средств. Постаревшие, исхудавшие, вытянувшиеся от недоедания, больные эти так и слоняются из палаты в палату в полуистлевших бинтах, с таблеткой в желудке, принятой еще при перестройке. К тому же и клятва Гиппократа... Пожарных, видимо, не отпустило ощущение стыда за сгоревшую каланчу, и они не теряют надежды, что новая власть, которая когда-нибудь да въедет в здание горисполкома, поставит им новую, современную, из стекла и бетона, и уж тогда-то они зорко будут следить за ее пожаробезопасностью.

Но что это за крики? Что это за стройные и не очень возгласы несутся с площади Ленина? «Товарищи, еще теснее сплотим наши ряды!..» «Урра-а-а!» «Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза!» «Долой гидру империализма!» «Руки прочь от Вьетнама!» А-а, все ясно. Это на площадь под рукоплескания публики вступает, наконец, славное отделение городской пожарной дружины, возвращающееся с помывки. Как говорится, легки на помине, как, впрочем, и на подъем при первых же звуках тревожного рожка. Орлы! Соколы! В касках, на мятой и немало повидавшей меди которых горит и плавится солнце, в торжественном марше шеренга за шеренгой чеканят они шаг и дружно, в десятки мужественных глоток ревут знаменитую свою строевую: «Огнеупорная! Водонапорная! Моя любимая пожа-а-арная часть!..» Женщины, дети, старики, старухи – все, кто собрались на площади, полные радости и оживления, с энтузиазмом выкрикивают: «Ура-а! Слава компа-а-артии!» И вновь, с пылом, с жаром: «Поддержим стахановское движение, дадим пятилетку!..»

Возможно, кого-нибудь повергнет в недоумение столь пылкое и неуместное скандирование, как если бы с пожарной командой воротилось в город и прежнее руководство. Какой-нибудь турист или командировочный, оказавшиеся в эти ми-

нуты на площади, непременно вообразили бы, будто бы Пёски – страна дураков, сон, вымысел. Ну как можно кричать славу КПСС, когда КПСС уже не существует! Или тут все с ума посходили? Но мы-то с вами советские, мы понимаем, какие бы кричалки мы ни скандировали, время не воротить. Это единственная истина, которая не подвержена сомнению. И если кто-нибудь из бывших и впрямь когда-нибудь будет замечен в коридорах власти, то можете быть уверены – вернулся он всего-навсего за чемоданом, оставленным по недосмотру где-нибудь в углу и уже обнесенном веером паутины.

Впрочем, жизнь – не только пустые речевки да праздники души. Случалось, в девяностые она так поворачивала, что и Карасу кое-кому показалась бы болотом, а brave молодые в медных касках не более желанными, чем лягушка, скачущая по столу. В те годы, смутные и неадекватные, многое было не так-то просто. Жизнь тогда настолько близко хаживала со смертью, что и суицидальные действия для некоторых представлялись уже не более ужасными, чем, к примеру, укол антибиотика. Подумаешь, еще один жмурик, найденный с дыркой в голове где-нибудь в заплесневелом подвале или же повисший под стропилами чердака! Дело, конечно, раскрутят, и выяснится, что бедолага решил не отставать от времени и приобщиться к новым, рыночным отношениям, сунулся в бизнес, взял кредит, а выкарабкаться не получилось. Откуда ему было знать, что бизнес в принципе невозможен, когда спрос равен нулю, а инфляция озверела и буйствует, как цунами, и очень скоро пожрет все его капиталы? Ведь он не банковский босс, который с удовольствием и греховной улыбкой на лице поторопился выдать ему роковой тот кредит под залог его трехкомнатной квартиры, не олигарх, не вор, а обыкновенный служащий, пусть даже с инженерным образованием. А время идет. Проценты растут, неумолимо, с каждой минутой, с каждым часом, с каждым движением часовой стрелки. И вот уже сумма процентов странным образом перевешивает сумму кредита. Легкий маленький снежок, который мы с удовольствием могли бы швырнуть, превращается в огромный снежный ком, который невозможно сдвинуть. Сердце стучит, в глазах меркнет. В карманах – нуль. Являются неизвестные – страшные, молчаливые. Вышвыривают жену, детей. И ведь все по закону... Как говорится, ничего личного...

Но вы... Вы не такой. Вы тоньше. Вы абсолютно все продумали. Вы-то уж точно ничего подобного не допустите. Возможно, вы бы и не решились на это, но вам давно уже опостытело, что ваша жена донашивает собственные обноски, с обиженным видом орудуя над ними иголкой и беззвучно проливая слезы, дети страдают от авитаминоза, теща закатывает скандалы, демонстративно воя над дочерью, что ей не пофартило с замужеством, представители ЖЭКа злобно стучатся в двери, грозят перекрыть канализацию за долги по коммунальным услугам. И вы решились, вы все-таки пошли на это, самоотверженно, гордо, со снисходительной ухмылкой на губах пережевывая пластинку жевательной американской резинки, отхваченной где-то по случаю. Как солдат, отправляющийся на войну, как гладиатор, на глазах у императора и у всего Древнего Рима идущий на смерть. И когда вы стукнули кулаком по столу, все поняли, кто в доме хозяин, даже теща, которая тут же поникла и прикрыла рот ладонью. И вот у вас уже договор с банком, на счету приличные деньги. Капитал, о котором вы и не мечтали. Под окном – внедорожник, импортный, навороченный, черный и лоснящийся таким удивительным блеском, что к нему страшно подступиться, такой же, как у бандитов или депутатов парламента. Человек слаб, и первое дело – это пустить пыль в глаза. В багажнике – бита

в бардачке у руля травматический пистолет на случай, если где-нибудь в пути вам не окажут достойного уважения, на которое вы рассчитываете. Одним словом, вы – новый русский, новый казах, новый еврей... То есть человек новой формации. Тем не менее, и у вас что-то не складывается. В какой-то момент вы с удивлением обнаруживаете, что денег ни на что не хватает, ни на любовниц, ни на рестораны, ни на Сейшелы. Они бесстыдно и вопреки всем вашим усилиям утекают, как будто сквозь пальцы. И вот вас уже неоднократно беспокоят из банка, из налоговой, делаю это вежливо, но все более настырно. На офис то и дело накатывает рэкет, бандиты. «Такого не может быть!» – думаете вы. Ведь вы сделали все, что только было возможно и невозможно для развития и процветания вашего бизнеса. И вдруг вы начинаете подозревать о некоей третьей силе, о существовании судьбы. Конечно, вам, как человеку грамотному и обладающему достаточным кругозором, и прежде было известно об этом умозрительном и в большей степени философском понятии, обозначающем предопределенность тех или иных событий. В некоторых книжках оно именуется роком и приобретает совсем уже зловещий оттенок. Преследуемые им плохо заканчивают. В голове вертится еще одно такое же словечко – фатум, но это уже по латыни. Однако эти знания, которые стоили бы похвал, в вашем положении только усугубили те изумление и ужас, в которые вы впали. Ибо в ваши планы ничего подобного не входило. Вы хорошо водите машину, вам знакомо, что такое рулевое колесо, как пользоваться газом, сцеплением, и вы оторопели, когда поняли, что машина неуправляема. Ужасное чувство. За окнами подпрыгивают и мечутся, как будто ужаленные, замечательные фрагменты природы: солнце, звенящая вдоль дороги речушка, лесные трепещущие уголки, ягоды, рдеющие в зелени трав и кустарников. Счастливые лица людей, пораженных вашим мужеством, граничащим с сумасшествием, заглядывают к вам в окошки, делают вам ручкой, девушки бросают цветы, а баранки-то нет, где оно, черт побери, рулевое это колесо? И вы, завидев открывшийся впереди черный, бездонный зев пропасти, кривую, страшную трещину, прорезавшую асфальт, понимаете, насколько судьба может быть неблагоприятной. О, если бы в эти минуты вас увидели близкие: на лице ни кровинки, волосы – дыбом! В голове одна только малодушная мысль: уж не глянулись ли вы самому Господу Богу, Отцу небесному, который вашими неудачами, и в частности, той бездной, что замаячила по курсу, пытается уберечь вашу бессмертную душу от дьявольского дыхания золота, от страшного, всепоглощающего блеска тех самых сокровищ, которыми когда-то очень давно пытались соблазнить Иисуса Христа?

Но нет! Вы не сдаетесь. Вы – твердый орешек. Всё, что на вас навалилось, подействовало мало сказать плохо: согнуло, сделало вас больным, вспыльчивым. Вы выжаты, как лимон, – вы это чувствуете. Однако вы еще дышите. Притом вы не из тех, кто при первой же неудаче скидывает лапки. Вот разве что нервы... Да-да, они-то как раз ни к черту. И тогда вы наперекор всему затыкаете уши ватками, закрываете глаза и пытаетесь забытья, то есть уйти в себя, как это делают йоги, придав всему вашему телу исключительно каменную или древесную неподвижность. И вдруг, обретя эту самую неподвижность, а вместе с тем и некоторую легкость и в теле, и в голове, ноющей от мигрени, и даже в конечностях, вы чувствуете некую грусть оттого, что не можете задержаться в таком состоянии хотя бы на год, на два, пока о вас позабудут, пока эта буча с кредитом, наконец, уляжется. А ведь как было бы хорошо! Постучись к вам судебные приставы – а квартира пуста. Ворвались небритые, огромные жлобы, не помещающиеся в двери, которых отправили, чтоб выбить

с вас долг, – результат тот же. Никто и не заметит окаменевшую фигурку в стиле роденовского «Мыслителя», который уронил свою тяжелую и кудлатую голову на кулак и так и застыл где-нибудь в углу под подоконником, никому не нужный, в пыли, в паутине, в листьях, что налетели из форточки. Возможно, при взгляде на этого «Мыслителя» в ком-нибудь и появится подозрение, и вас начнут простукивать молоточком. Терпите. Не показывайте вида. Полное оцепенение. Пол... В ломбард все равно не снесут. Ведь вы не из золота, не из слоновой кости.

И вот, согласно технике медитации, вы глубоко расслабились, забылись, выбросили из головы все, что только было возможно, прислушиваетесь к собственному дыханию, под смеженными веками всплывают оранжевые круги; тихо, как кот, подкрадывается сон; вам хорошо, покойно, вы не чувствуете тела, не чувствуете ни членов, ни сочленений, которые мягко и приятно обволакивает каким-то тонким и почти неосознаваемым теплом. Странные ощущения переполняют вас, будто бы вы повисли в воздухе, как повисает в воздухе дым или паутинка, носимые ветром, и беспокоит вас только одно – как бы вам не помешали: это могут быть и будильник, заверещавший не ко времени, и жена со встрепанными волосами, и муха, отчаянно бьющаяся в стекло, за которым один только мрак, стылый и равнодушный – и вы, не заметив и сами, как это произошло, погружаетесь в единственное, что у вас еще осталось, что невозможно отнять у любого из нас – в прошлое, в удивительное, иллюзорное прошлое, в то самое пространство и время, теперь уже и в самом деле похожее на сон, в котором мы жили, в котором мы ели, спали, трудились, влюблялись, спорили и в котором мы все, всей нашей огромной страной, и впрямь были счастливы; где голоногими детишками мы пели у пионерских костров, где милиция нас вполне уважала, где наши дома, универсамы, спортивные сооружения, едва-едва возведенные, еще не рушились при первых же порывах ветра, где пожарные гидранты всегда были полны водой, где с неба не падали аэробусы с истекшим сроком эксплуатации, где в больницах нас лечили на совесть, где все мы не испытывали ни холода, ни голода, ни огорчений и были уверены, что завтрашний день будет еще лучше.

Судoisполнители уйдут, уйдут и бандиты. Уйдет время, месяцы, годы, и вы, желающий одного – покоя и только покоя, окончательно превратитесь в чудо. В чудо искусства. В ту самую известную скульптуру Родена. Вашу квартиру переоборудуют в музей. Столетняя сморщенная старушка, работающая смотрительницей, к вашему удовольствию будет шипеть на посетителей: «Руками не трогать!» А у тонких ценителей искусства всякий раз будет вызывать удивление, насколько правдиво, насколько жизнеутверждающе выглядит это суровое лицо, высеченное из камня, эти морщины на челе, удрученно сдвинутые к переносице брови, сжатые губы. Будут говорить: «Ах, Роден, Роден!.. Повезло же этому творению родиться под руками такого мастера!..»

А вам... вам хорошо. Вы пребываете на вершине блаженства, ничем не озабоченный, ничем не обеспокоенный: ни мыслью о куске хлеба, ни вашими домашними: женой, тещей, детьми, ни чертовым этим бизнесом. Бесконечные людские проблемы обтекают вас стороной. Вопросы меркантильного характера не действуют на нервы. Вам неизвестно, что такое болезни, которым у нормального человека не бывает конца и которые когда-нибудь да сведут его в холод могилы.

И вдруг через толщу камня, в который вы превратились, до вас доносится: «Неплохо устроился!» И эти слова, и издевательский их тон покажутся вам удивительно знакомыми. Как будто все это вы уже слышали. Вы ворочаете каменными глазами,

с трудом устремляете их к свету и вдруг обнаруживаете, что перед вами зеркало. Но кто это в нем? Что за старик там колыхнется в блеске и холоде амальгамы? Только вчера вы были удивительно молоды. Только вчера ваши смолистые кудри пользовались бешеной популярностью, в особенности у слабого пола. Где они? С почти остановившимся сердцем вы наблюдаете плешь с отдельными волосками. Во рту между перекошенных зубов зияет трещина. Морщины глубоко прорезали широкий ваш лоб, впалые щеки в клоках щетины. Вы не успели прийти в ужас, в замешательство, как в двери уже стучатся: «Мосгаз! Вы затопили нижний этаж!» – «Смешно. Смешно, черт побери! – вертите вы головой. – Какой в Пёсках может быть Мосгаз!» И вы с тревогой понимаете, что где-то у вас за спиной, в комнате, где по-походному, на узлах и чемоданах, готовые к побегу, ночуют ваши домашние, проснулся телевизор. Отражение в зеркале нервно и некрасиво перекосило. «Следующая остановка Останкино», – мягко сказали по телевизору. И тут же громко, ужасно, по-настоящему затарабанили в двери...

Между тем с площади Ленина все еще разносится: «Слава коммунистической партии!», «Все на БАМ!» и т. д., и т. п. Кажется, почему бы не придумать что-нибудь новое, злободневное? Да что тут придумаешь! Девяностые. Смутное время. В конце концов, приплясываем же мы по лужам в ботинках, которые уже и развалились, и чавкают, когда на новые не имеется средств. Но стоит тучам рассеяться, воздуху насытиться свежим, бодрящим озоном, а птицам поднять щебет, как все наши переживания уходят, растворяются в благодати чистой и обновленной природы. «Ну и фиг с ними, с этими ботинками!» – думаем мы, легкомысленные, уверенные, что солнечных дней в году куда как больше, нежели непогоды и ливней.

Увы, подходит к концу и воскресный день. Тени от здания горисполкома и памятника Ленину чудовищно выросли, и все удлиняются, ширятся, темнеют, как будто вороново крыло, расплзаются за пределы площади, воздух постепенно буреет, наливается золотом. Люди все чаще поглядывают на часы, на далекое красное солнце, которое неумолимо клонится куда-то за холмы, за песчаную линию горизонта, начинают скатывать коврики, кличут детей, покидают тугайные заросли, речку, и одни – поспешно, другие – не торопясь, но все одинаково усталые и довольные разбредаются в разных направлениях, по всем пёскинским улочкам, каждый со своим скарбом, со своими сумками, авоськами, с дремлющими в колясках детьми, с младенцами на руках, поддерживая под руки стариков, старушек.

А некоторые пьяны. Что тут поделаешь – не без этого! Жен их и не узнать. Только-только благодушные, радостные, разнеженные, они накидываются на них, как мегеры, машут, бьют пухлыми кулачками. Те едва ли не валятся, коленки подгибаются. Женщины подлезают под мышки, пытаются поддерживать. Глаза их мечут молнии: «Дура я! Чтобы еще куда-нибудь пошла!.. Алкаш! Сволочь!..» А те – натуральные пёскинцы, боевые, неукротимые, – тоже вскидывают кулаки, тоже со страшными и надутыми лицами грозят непонятно кому, упираются, сопротивляются и все пытаются затянуть какую-нибудь песню, сплясать, сцепиться с кем-нибудь из прохожих. И ничто, ничто не в состоянии поколебать их в твердом и законном их намерении: ни жены, возмущение и брань которых достигают крайних пределов, ни солнце, способное испелить все живое и неживое, ни пустыня, простирающаяся вокруг и рождающая в неведомой глубине своей песчаные бури, что порой сносят крыши и деревья, ломая их, как спички и засыпая все прахом и пылью, ни небо,

где живет Бог, который однажды рассердился на человечество, и люди перестали понимать друга, жены – мужей, мужья – жен. И всё-то им нипочем. Трынть-трава, и только. На вопли и ругань, которые несутся во все стороны, собираются люди: соседи, родственники. Вокруг каждой такой пары поднимается суета. Глядишь, какого-нибудь пьянчужку понесли на закорках, другого подхватили под мышки, третьего заботливо поддерживают и сзади, и спереди; не желающие ничего знать очевидцы проходят мимо, деликатно отворачивают глаза, скрытые за солнечными очками, в которых, как в зеркале, переливаются и рдеют закатные краски. А где-то впереди, среди людского потока, растекающегося живыми и говорливыми ручьями и вступающего в городские кварталы, невзирая на брань и усталость, еще наяривает гармонь, еще надрываются голоса: «Из-за о-о-строва на стре-е-жень...»

И каждого ждет дом, очаг – какая-нибудь печурка, выложенная из камня или из глины, которые топятя либо углем, либо лепешками кизяка, а может – электроплитка, или даже печь, огромная, в полдома, сияющая изразцами, какие ставили еще первопоселенцы – казаки. И надо еще успеть выспаться: в понедельник на работу – одним на отвалы, другим – на железную дорогу, причем на «железку», как ее еще называют, уже нынче – в ночь, в неизвестность.

На подходе к микрорайону, когда воздух уже померк, но все еще робко и как-то просительно светится возле самой земли, когда люди все уже разбрелись, а окна – одни загорелись, а другие темные и еще не потревоженные человеческим присутствием – возвращают небесам последние их отблески, то жаркие, полыхающие пламенем, то едва приметные, подобно угасающим углям, на опустевшей дорожке возникла, как будто бы ниоткуда, одинокая и неуверенная фигурка Толика-Жумабая, того самого парня с поэтическими наклонностями.

Штаны на нем были оборваны. На голом теле висел перекошенный на одну сторону пиджак явно с чужого плеча, грязный и замазанный, как у тракториста. Из внутреннего кармана выглядывала бутылка. Слипшиеся волосы падали ему на глаза. Он стоял и пошатывался, как камышовая тростинка, овеваемая ветром. Стоило ему сделать шаг-другой, как дорожка под ним начинала клониться, да так внезапно, что его просто выкидывало за ее пределы, и ему стоило немалого труда, зацепившись за куст или столб, вернуться обратно, и все-таки продолжить путь, придерживаясь определенного курса. А курс этот – микрорайон. Он уже смутно, но соображал, что перед ним родные его «микры». «Блин! – радовался парень. – Такой, блин, подарок!» Хотя и не понимал, как он здесь оказался. Крутил в изумлении головой, вздыхал, осматривался вокруг пьяными, мутными, красными, как будто залитыми кровью глазами, как если бы пытался в чем-нибудь убедиться. И кусты, и разного рода чахлые деревца, и электрические столбы-бревна, потемневшие от времени, тихо и равнодушно гудевшие в сторонке, – все это двоилось, троилось, куда-то плыло, и все это было страшно знакомо. Но как? Какими, так сказать, силами его сюда занесло?

Прошло более суток с тех пор, как в одной из этих «панелек», которые теперь, казалось, пошатывались и клонились перед ним на некотором отдалении, он полетел вниз по лестнице, оставляя после себя шум, грохот и стон перил, еще долго разносившиеся эхом в опустевшем подъезде. Но этого он уже не помнил, не помнил ни номера квартиры, которую покинул, ни как он там оказался, ни что он там делал, ни что там были за люди – как выглядели, какого возраста. И виной тому была не одна только память, которую отшибло, как будто лопатой. Просто он пребывал в

такой прострации, в таком страшном хмелю, что был не в состоянии и слова вымолвить, лишь иногда почерневшие и потрескавшиеся губы его бормотали что-нибудь невразумительное, а руки летали в воздухе; видимо, таким образом истомленная и желавшая отдыха душа его пробовала выразить что-нибудь чрезвычайно важное, растревожившее ее. Зато он хорошо помнил другое: как где-то в грязном и шумном доме, провонявшем спиртным, потом и прокисшими салатами, пил водку, помнил женщину, рядом с которой очнулся, и женщина эта кричала: «Шампа-а-анского!»

Вялая грудь ее вывалилась за лифчик, зубы ее были в помаде. Помнил, как веером держал карты, и злой, горячий, в каком-то неудержимом восторге все швырял и швырял их одну за другой на стол. Гремела музыка, крутились какие-то пластинки. В ушах все еще держались хохот, крики. В глазах хороводили сопревшие от зноя носы, щеки, алчные взгляды, надутые, как шары, волосатые брюха вываливались над штанами; вороха денег, карточные засаленные короли, дамы, семерки, тузы отплясывали у него перед глазами в каких-то мутных и тягучих пятнах, странно и как-то очень уж неправдоподобно искажавших действительность. И чем ближе он придвигался к цели, к той самой группе домов, к родному его микрорайону, до которого было уже и рукой подать и все никак было не добраться, время от времени ему приходило на ум, что дома эти нереальны, что сложены они не из панельных блоков, не из стекла и бетона, а возведены из тех самых игральных карт то рубашкой наружу, то изображением, то поставленные на ребро и испускающие какое-то именно карточное сияние, в котором сами же и тонули, несколько оторванные от земли, словно какие-нибудь острова, плывущие в воздухе и до краев переполненные двоящимися и троящимися стенами, окнами, в которых зажигались огни, темными крышами, балконами, забитыми всякого рода отслужившею мебелью, бельем на веревках, железными тазиками на гвоздях. И все это тихо подрагивало, светилось и без усталости колыхалось, как знойное марево, плывущее в сумерках, сквозь все теми же карточными королями в замызганных буклях, стеклами граненых стаканов со следами вина, бубнами, трефами, женскою грудью, вывалившейся из лифчика, и его охватывало сомнение, а верно ли он идет, не мираж ли впереди, ведь миражи не редкость в этих краях и увели не одну человеческую душу в открытую пустыню, в страшную, выжженную Бетпак-Далу. В городе все знают, стоит только углубиться в летающие эти пески, и уже не вернешься, и кости твои, выбеленные солнцем, навеки поглотят барханы. И он улыбнулся, он выпрямился и показал кому-то неизвестному кукиш, сложенный из смуглых и грязных пальцев, потом повернул в сторону, и тут его вынесло за столбы, за сухие кустарники, перемежающиеся с полынью. Хотя и здесь, в стороне от дорожки, непонятно почему его продолжало швырять и клонить к земле, да так крепко, что ему едва удавалось выстоять и не захватить лицом в камни, в песок. А когда ноги его начали увязать в том самом песке и спотыкаться о те самые камни, он понял, что и здесь что-то не то, и решил воротиться, произведя ногами какое-то немислимое коленце, чтобы его развернуло. И тут в какой-то момент его посетило ощущение, что его дом, то есть квартира, где-то совсем-совсем рядом. То ли это было наитие, порой загадочным образом нисходящее свыше, то ли это легкое дыхание ветра, налетевшего из потемневшей пустыни, обдало его чем-то невыразимо теплым, родным. Запахло откуда-то борщом. И это еще больше придало ему сил. О, он дойдет! Дойдет! Во что бы то ни стало! Ведь дошел же Амундсен до полюса на одних собачьих упряжках. Он где-то читал... Или, может, по телеку видел... Там еще собака была, Белый клык...

Но вот сумерки сгустились, высыпали звезды, и мы видим, как облитый их смутным и голубоватым сиянием Толик-Жумабай уже смиренно покачивается у какого-то подъезда. Не с первой попытки, но со второй или даже с третьей, сначала споткнувшись об одну из ступенек, потом ударившись о косяк, он торопливо скользнул в темный проем двери. Но вскоре опять появился, застыл задумчивой тенью и, наконец, мыча что-то невнятное, охнул и осел на крылечко. Потом вытащил из кармана бутылку вина и вновь углубился в какие-то мысли. А думал он о жене которая имела привычку демонстративно и в жутком молчании опрокидывать в унитаз все, что она у него обнаруживала: водку ли, вино ли, когда он являлся не совсем в порядке, причем с таким выражением, как если бы избавлялась от ядовитой змеи. И он решил, что вино надо допить. Вытянул пробку, понюхал ее, взглянул на бутылку, содержимое которой чуть слышно и загадочно плеснулось где-то в самой глубине, крикнул и запрокинул голову. Порожнюю бутылку аккуратно, чтобы не разбудить соседей, опустил в тень, под крылечко, в соседские в георгины, которые легонько качнулись от прикосновения его руки и обдали ее шелком нежных и едва блеснувших в темноте лепестков.

Скоро его потянуло в сон. Он хотел было идти домой, но ноги его потяжелели, страшно, как будто налились свинцом, хмель приумножился хмелем, в глазах опять все накренилось, захороводило, поплыло и начало клониться и влево, и вправо, и все это было куда как разнuzданней, чем прежде, и он понял, что ему уже не подняться.

Эх, что-нибудь спеть бы, подумал он, однако соседи... мать его, ну что за народ, что за народ эти соседи! Так, кажется, и порвал бы их всех! Свесятся с балконов, из окон своих, и такой поднимут хай-вай! И ведь никто, никто его не понимает! Единственно – тесть. Золотой человек! Да-да, золотой человек, – отзывается он о нем, этот рыхлый и согнутый старик, бывший руководящий работник, хотя тоже, мать его, не без усмешки, когда, мол, не пьет... Ну и пусть, хотя бы так... А вот теща... Не-не, вообще-то она ничего... бешбармак, котлеты... Но стоит ему встать на пороге, как она уже пялится на него, как если бы он был вор, которого она застукала с личным. Ну и что! Ну и выпил, ну и хрястнул кулаком в дверь. Ну, пнул он ее, эту дверь, так она ведь железная! Что ей будет!.. И он возмущенно выругался. Однако тут же на лицо его накатила улыбка: вспомнились дети. Единственная его радость. Они обожают его. Не успеет присесть, как они тут же к нему на коленки. Вздвигаются, лезут, мать его, наперегонки, и ведь не остановишь, пьяный, не пьяный... Да им пофиг!.. Что они понимают? Да!.. Да! – кивает он головой согласно своим невеселым мыслям. Что? Что они понимают? И его охватывает умиление. «Вот падла! – думает он. – Вот падла!» И на глаза его накапывают слезы. Лицо становится мокрым. Он отирается грязным, костлявым кулаком и потихоньку всхлипывает. Но ведь это тоже показатель, думает он с грустью, думает с обидой, подступающей к горлу. Также ведь показатель! Не то что жена. Жена, как увидит его, так сразу за скалку, за чайник, за что ни придется – не уважает, боится. Один только тесть, дай ему бог здоровья, талдычит и талдычит где-нибудь на кухне или у телевизора, беззубым ртом своим, мол, золотой человек, мать его, и туды, и сюды...

Но ему уже все равно, Толику-Жумабаю. «Фиг с ними!» – думает он и взмахивает рукой. Ему и одному хорошо. Звезды наверху, казалось, опустились ниже, дрожат, вспыхивают, сливаются в блестящую кашу. Какая-то тихая грусть, а может, и смутная радость, как будто бы огромный опавший лист, ложится ему на душу.

Скупая слеза катится во мглу. Мягко и незаметно подкрадывается сон, смыкает веки. И ему чудится, будто бы он дома, в постели. Укрывается одеялом. Голова его ищет подушку, клонится, клонится... Он знает, что она близко, где-то рядом, набитая пухом. Умиротворенно, радостно вслед за головой потянулись и шея, и плечи... Свесился черный, блеснувший под звездами чуб.

С шорохом, с грубым и тяжелым шлепком, как перезревшее яблоко, валится он в клумбу, в цветы, обильно политые под вечер хозяйкой, толстой и раздражительной старухой с первого этажа.

В полночь, когда большая и сияющая медью луна озарила его фигурку, скрючившуюся и наполовину утонувшую в садовой грязи, он вскрикнул, беспокойно замахал руками, видно, приснилось что-нибудь недоброе: жена над унитазом, вытряхивающая из бутылки последние капли, карточный король с грудью, вывалившейся из лифчика. Но тут на ветку джиды, что склонилась над палисадником, набежал ветер, легкий бриз – порождение ночи и сна, мелкие и острые листья легонько приподнялись, показали изнанку, запылавшую серебром, тихо зашелестели, затянули над ним колыбельную. Луна, удивительно похожая на лик молодой богини и пугающая, как призрак, – опустилась на ветку, улыбнулась, как некогда таинственно и не без намека улыбались ему женщины, когда он еще не пил, когда хорошо одевался, был свеж, подтянут. Звезды запылали еще более чувственно, ярко, трепетно, и даже вытянулись по струнке, как будто солдаты, взявшие на караул, дабы их подопечного не ошмонали, не вывернули ему карманов; впрочем, они и без того были пустыми, и в одном из этих карманов успел уже поселиться предприимчивый муравьишка, едва-едва выползший из болота, устроенного хозяйкой цветника; в другом – сороконожка, которая, почувствовав себя в безопасности, тут же принялась чиститься и вылизывать все свои бесчисленные сапожки и ботиночки; за воротом пиджака, круглая и в дымчатых яблоках, приспособилась божья коровка. В одной из штанин, а они, как известно, были у него рваные, долго, почти до рассвета, просовываясь то в одну дыру, то в другую, квакала лягушка, и в мокрых, выпученных глазах ее вспыхивали звезды. Известно, что человеческое тело выделяет тепло, и ночью, когда заметно холодает, жителям былинки и древесных корешков тепло это, надо заметить, очень и очень кстати.

Потом было утро, и был день. Едва на востоке забрезжило первым малиновым светом, прилетела и бабочка, постоянная посетительница этого цветущего уголка, повисла в воздухе на изумительно прекрасных крыльях и удивилась тому, что покоилось, возвышаясь темной и неопрятной горой, среди помятых и поломанных георгинов, чему-то огромному, необъяснимому, чего она прежде не видела, но садиться не стала, затрепетала крыльями, свернула хоботок и вновь улетела: ее напугал странный и тяжелый дух, поднимавшийся над палисадником.

День этот был тем самым, когда в небе между Россией и Казахстаном появилась комета. С ярким, блестящим, как будто маленькое солнце ядром. За кометой тянулся шлейф. Но люди ее не заметили, ибо не принесла она ни разрушений, ни перемены климата, а, подлетая к Земле, мирно и без происшествий сгорела в околосемных слоях атмосферы.

